

Осип Эмильевич Мандельштам Стихотворения. Проза

«Нет, никогда, ничей я не был современник...» *О судьбе и поэзии Осипа Мандельштама*

Читая стихи Осипа Мандельштама, легко заметить, что излюбленными образами его поэзии были пчелы, стрекозы и ласточки. Особенно ласточки...

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных, с прозрачными играть...

И – в том же стихотворении:

И медленно растет, как бы шатер или храм:
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам...

И – там же:

Всё не о том прозрачная твердит,
Все – ласточка, подружка, Антигона...

Пчел, стрекоз и ласточек объединяет непредсказуемость полета. Постороннему глазу он кажется сумбурным, капризным, а порой и бессмысленным. На самом деле он подчинен строгой дисциплине. Не зря летает пчела от цветка к цветку, не зря чертит ласточка свои штрихи в небе, не зря долго зависает стрекоза над гладью озера, чтобы потом неожиданно сорваться с места и исчезнуть. Все это неукоснительно сочетается с законами природы.

Это очень созвучно поэзии Мандельштама, одновременно капризной и дисциплинированной, непредсказуемой и строго организованной. На первый взгляд его причудливый синтаксис, метафоры, произвольная постановка в один ряд слов и понятий, которые никто не решился бы поставить рядом, – все это кажется... поэтическим бредом. Талантливым, завораживающим, но все-таки – бредом. Не случайно критики – современники Мандельштама (например, А.А. Измайлов) называли его стихи «сушей ерундой», вовсе отказывая им в разумном смысле.

Но сам Мандельштам в своих критических и теоретических работах, которые составляют не менее значимую часть его творчества, чем поэзия, неустанно твердил о необходимости «узды» для поэта. Одним из любимых его понятий было «целомудрие». Всякое произвольное, анархическое отношение к слову в его глазах было нецеломудренным, а значит, и непоэтическим. Из всех искусств, кроме поэзии, он, кажется, больше всего ценил архитектуру и сравнивал поэзию с архитектурой, а стихотворение – с готическим собором.

Вот стихи о соборе Парижской Богоматери («Notre Dame») из первой его книги «Камень» (1913), которое можно считать программным:

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, – и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:

Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

Только Мандельштам имел право сравнить таран, орудие для пробивания крепостных стен, со сводом готического собора. Это кажется поэтическим капризом. Между тем, всё стихотворение о том, «как строить стихи», если перефразировать знаменитое выражение Маяковского «Как делать стихи?».

Если символист Александр Блок искал в поэзии «музыки» в ее то ли ницшевском («Рождение трагедии из духа музыки»), то ли гоголевском понимании (музыка мчащейся Руси-тройки), отвергая всякое рассудочное отношение к искусству, если футурист Владимир Маяковский предлагал «делать» стихи и даже поставить это «дело» на промышленную основу, то Мандельштам считал необходимым стихи «строить», тщательно возводя здание каждого стихотворения.

Многие области науки он считал искусством не более виртуозным, чем само искусство. Оттого мог позволить себе такие высказывания: «Дант произвел головную разведку для всего нового европейского искусства, главным образом для математики и музыки»; «Дант может быть понят лишь при помощи теории квант» (черновые наброски к «Разговору о Данте»).

Оттого и стихи Мандельштама требуют очень внимательного прочтения, а не только мгновенного восприятия на слух, подобно тому, как сам поэт внимательно изучал твердыню Notre Dame, пытаясь перенести архитектурное искусство постройки этого собора в искусство стихотворения.

Или правильнее сказать: *стихостроения* .

К жизненной судьбе Мандельштама лучше всего подходит слово «бездомный». Но это была не принципиальная и сознательная «бездомность», например, Ивана Бунина, единственной собственностью которого был «чемодан», а главной страстью после писательства страсть к путешествиям. Это была органическая, чуть ли не врожденная бездомность человека, который не мог быть до конца «своим» ни в одном литературном кругу. Тем более не мог он стать советским поэтом, хотя какое-то время пытался искусственно воспитать в себе «советское» отношение к действительности:

Я должен жить дыша и большевея...

К счастью или к несчастью, это было невозможно. И его конец (гибель в 1938 году в пересыльном лагере под Владивостоком при невыясненных обстоятельствах) был предопределен, что, впрочем, не снимает с власти вины за смерть одного из самых значительных русских поэтов XX века. И положение его в русской поэзии – исключительно одинокое. Если Николай Гумилев посмертно и «подпольно» повлиял на многих известных советских поэтов (особенно – на Николая Тихонова), то влияние Мандельштама «аукнулось» только спустя несколько десятилетий после его гибели в новейшей поэзии. Но и это влияние нельзя признать безоговорочно. Следовать поэтическим приемам Мандельштама так же

бесполезно, как подражать поздней прозе Бунина. В этом случае все вылезет наружу и каждая строчка как бы «закричит»: «Я – Мандельштам! Только слабее, только беднее...»

Мандельштам может быть только один.

Одинокость преследовала его всю жизнь. Это была какая-то тотальная одинокость. Например, Корней Чуковский в 1920 году заметил, что в комнате Мандельштама в Доме искусств (своеобразная писательская гостиница, организованная стараниями М. Горького) «не было ничего, принадлежащего ему, кроме папирос – ни одной личной вещи. И тогда я понял самую разительную его черту – безбытность. Это был человек, не создававший вокруг себя никакого быта и живущий вне всякого уклада». О том же пишет в своих воспоминаниях современник Мандельштама поэт Георгий Иванов. Он рисует пронзительный образ поэта, оказавшегося в Крыму совершенно без денег:

«С флюсом, обиженный, некормленный, Мандельштам выходил из дому, стараясь не попасться лишней раз на глаза хозяину или злой служанке. Всклопоченный, в сандалиях на босу ногу, он шел по берегу, встречные мальчишки фыркали ему в лицо и делали из полы «свиное ухо». Он шел к ларьку, где старушка-еврейка торговала спичками, папиросами, булками, молоком... Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески (может быть, он напоминал ей собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа), по доброте сердечной оказывала Мандельштаму «кредит»: разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока «на книжку». Она знала, конечно, что ни копейки не получит, но надо же поддержать молодого человека – такой симпатичный и, должно быть, больной: на прошлой неделе все кашлял, а теперь вот – флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос второго сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность, рассеянно тянулся к чему-нибудь более ценному – коробке печенья или плитке шоколада, – добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо: «Извиняюсь, господин Мандельштам, это вам не по средствам».

И он, сразу оскорбившись, покраснев, дергал плечами, поворачивался и быстро уходил. Старушка грустно смотрела ему вслед – может быть, ее внук был такой же гордый и такой же бедный, – видит Бог, она не хотела обидеть молодого человека...»

Осип Эмильевич Мандельштам родился в Варшаве 3 (15) января 1891 года в семье курляндского еврея, выпускника талмудической школы, «мастера перчаточного дела и сортировщика кож», а затем купца 1-й гильдии Эмиля Вениаминовича Мандельштама и Флоры Осиповны Вербловской, музыкантши из интеллигентской семьи, бывшей в родстве с историком русской литературы Семеном Афанасьевичем Венгеро-вым. Такая разительная «смесь» в происхождении, а также переезд семьи Мандельштам в Павловск и Петербург не могли не отразиться на мироощущении будущего поэта. Невероятный контраст между холодным «классическим» Петербургом и специфическими чертами быта еврейской религиозной диаспоры оказал влияние на развитие личности Мандельштама и отразился в его поэзии.

Образование сына разительно отличалось от образования отца. Осип закончил одно из самых престижных учебных заведений столицы – Тенишевское училище, которое чуть позже закончит Владимир Набоков. Любимым учителем был преподаватель литературы В.В. Гиппиус – первый, кто серьезно повлиял на литературные вкусы Мандельштама.

Дальнейшая судьба обещала сложиться так же блистательно. С 1907 по 1908 год Мандельштам жил в Париже и посещал лекции на словесном факультете Сорбонны, а в 1909 – 1910 годах провел семестр в Гейдельбергском университете. Жил в Берлине, путешествовал по Италии и Швейцарии.

С 1911 года до Февральской революции Мандельштам учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета.

Менее успешно складывалась его творческая судьба. К сознательному литературному творчеству он обратился в 1907 – 1908 гг. в Париже в период увлечения «проклятыми»

французскими поэтами (особенно Бодлером и Верленом). В это же время увлекался русским символизмом и послал свои стихи Брюсову, который отозвался о них пренебрежительно, отрицая их оригинальность. Через некоторое время этот отзыв повторил Блок, с которым Мандельштам познакомится в 1911 г.

Тем не менее ранние шаги Мандельштама, как и Гумилева, связаны с символизмом. Он – нередкий посетитель «Башни» Вячеслава Иванова, где впервые слушают в авторском исполнении его стихи. Отношение к ним диаметрально противоположное: от одобрения и даже восхищения (Андрей Белый, Владимир Пяст) до резко отрицательного. Но все отметили особый («качающийся») ритм его стихотворений, завораживающий, заставляющий забыть о содержании:

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.

Немного красного вина,
Немного солнечного мая, —
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

Уже в этом стихотворении Мандельштама, написанном в 1909 году, можно обнаружить главные приметы его поэзии. Туманность, размытость содержания (вплоть до бессмысленности) странным образом не сближает автора с символистами, а, напротив, отталкивает от них. Свои туманные образы символисты создавали, нагружая и даже перегружая мистическим содержанием. В системе символистской поэзии образ не равен самой вещи. Важна не вещь, а ее мистический смысл.

В стихотворении Мандельштама туманность содержания вовсе не намек на слишком высокий, недоступный для смертного смысл. Цветочная ваза остается просто вазой, красное вино – вином, а бисквит – бисквитом. И даже два «огромных глаза» печали – лишь дерзкий образ, обозначающий вполне конкретное состояние человеческой души. И так по-детски доверчиво смотрят эти глаза, что все стихотворение приобретает живой и земной смысл.

Это детская, наивная точка зрения на окружающий «маленький» мир, где комната не просто комната, но «маленькое царство», где вещи оживают («выплеснула свой хрусталь»), где отдельные детали предметов и человека важнее целого, так как именно они занимательнее для детского зрения. Не весь человек важен, а его тончайшие пальцы, и не просто пальцы, но как они ломают бисквит, как сыплются из-под них крошки в майском солнечном свете, как просвечивает тонкая белая кожа, становясь розовой, и т. п. Все стихотворение, вопреки началу, наполняется безотчетной радостью, поет о живой, конкретной жизни, за которой не надо искать никаких метафизических высот.

Ранняя поэзия Мандельштама ближе не символистской образности, но полотнам французских импрессионистов Моне, Дега, Ренуара...

Свое временное пристанище Мандельштам обрел в акмеизме, став одной из ведущих фигур гумилевского «Цеха поэтов». Акмеисты: Н.С. Гумилев, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий, М.А. Зенкевич, Г.И. Иванов, Е.Ю. Кузьмина-Караваева и др. – заявили о себе в 10-е годы XX века почти одновременно с футуристами. Они отличались от

футуристов тем, что, отталкиваясь от символизма, как исчерпавшего свой исторический срок поэтического течения, акмеисты, тем не менее, продолжали считать себя наследниками символизма.

Своего рода «промежуточными» фигурами между символизмом и акмеизмом оказались И.Ф. Анненский, обозначивший своей смертью в 1909 году начало конца символизма как поэтического течения и серьезно повлиявший на становление Гумилева и Ахматовой, а также поэт, прозаик и критик Михаил Кузмин. В 1910 году он выступил со статьей «О прекрасной ясности», в которой подверг язвительной критике главные грехи символизма: туманность образов, небрежное отношение к законам литературных жанров.

«Наиболее причудливые, смутные и мрачные вымыслы Эдгара По, необузданные фантазии Гофмана нам особенно дороги именно потому, что они облечены в кристальную форму. Что же сказать про бытовую московскую историйку, которая была бы одета в столь непонятный, темный космический убор, что редкие вразумительные строчки нам казались бы лучшими друзьями после разлуки? Не сказал ли бы подозрительный человек, что автор пускает туман, чтобы заставить не понять того, в чем и понимать-то нечего? Это несоответствие формы с содержанием, отсутствие контуров, ненужный туман и акробатский синтаксис могут быть названы не очень красивым именем. Мы скромно назовем это безвкусием».

Михаил Кузмин предлагал иное отношение к искусству: «Пусть ваша душа будет цельна или расколота, пусть миропостижение будет мистическим, реалистическим, скептическим или даже идеалистическим... но, умоляю, будьте логичны... в замысле, в постройке произведения, в синтаксисе...» Такой подход он назвал «кларизмом» (от лат. «clarus» – ясный), по существу предвосхитив теоретические манифесты акмеизма.

Идея преемственности, а не разрыва особенно ясно выражена в программной статье вождя акмеистов Николая Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» (1913). В самом начале статьи он давал понять, что новаторство акмеистов не имеет ничего общего с хулиганскими выходками футуристов, предлагавших сбросить Пушкина и Толстого с «парохода современности». По заявлению Гумилева, футуристы – это «гиены, всегда следующие за львом».

Акмеизм пришел «на смену символизму», который «закончил свой круг развития и теперь падает». Но для того, «чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом».

Более радикальное мнение о проблеме «символизм – акмеизм» высказал Мандельштам в статье «Утро акмеизма» (написана в 1912 или 1913 году, но впервые напечатана в 1919-м). Мандельштам считал, что между акмеизмом и символизмом существует глубокое различие. «Символисты были плохими домоседами, они любили путешествия, но им было плохо, не по себе в клетке своего организма... Для того чтобы успешно строить, первое условие – искренний пиетет к трем измерениям пространства – смотреть на них не как на обузу или на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец. В самом деле: что вы скажете о неблагодарном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает о том, как бы его перехитрить. Строить можно только во имя «трех измерений», так как они есть условие всякого зодчества. Вот почему архитектор должен быть хорошим домоседом, а символисты были плохими зодчими...»

Статья Мандельштама написана образным, ассоциативным языком, но легко догадаться, что спор акмеизма с символизмом не был только спором о поэтической форме. Он касался сущностных категорий бытия. Символисты были «плохими домоседами», так как в своей поэзии стремились к запредельным смыслам, вслед за Платоном и Соловьевым полагая, что здешний мир «только отблеск, только тени от незримого очами» (Владимир Соловьев), то есть – от ирреального мира идей, «сущностей». Но – по убеждению

Мандельштама – они тем самым вступали в противоречие с Высшей волей, создавшей этот мир с его «тремя измерениями». Они искали четвертое, не существующее в реальности измерение и на его основе пытались построить свое поэтическое здание. Это было архитектурной ошибкой, и потому здание символизма рассыпалось. Не сумев выразить «запредельное» на простом человеческом языке, они в то же время прошли мимо подлинной красоты здешнего мира.

В более мягкой форме Гумилев также указывал на роковые ошибки символистов. Он высоко оценивал их за то, что «они указали нам на значение в искусстве символов». Но не соглашался «приносить ему в жертву прочих способов поэтического воздействия». И опять: разногласия Гумилева с символистами не исчерпывались только вопросом о поэтической форме. «Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он брался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Некоторые его искания в этом направлении почти приближались к созданию мифа». Однако «непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать». Но – самое главное: «все попытки в этом направлении – нецеломудренны...»

В понятии «целомудрия» – основной нерв разногласий акмеистов с символистами. Родство взглядов Гумилева и Мандельштама на акмеизм проявилось еще и в том, что оба полагали свое направление более трудной поэтической задачей, чем символизм. Особенно отчетливо это звучало в статье Гумилева. Акмеизм не отказывался от символа как поэтического способа отражения мира, но не исключал и реализма. Акмеистический образ более предметен, он вбирал в себя черты повседневной реальности вплоть до мелких деталей быта. Задача нового течения, по Гумилеву, «всегда идти по линии наибольшего сопротивления». Об этом же писал и Мандельштам, говоря: «Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, которые сами можем построить».

Акмеизм был естественной реакцией на расплывчатость, беспредметность символистской поэзии; недостаток, который начинали осознавать и наиболее крупные символисты (прежде всего – А. Блок). Заслугой акмеизма был акцент на целомудренности поэзии: это возвращало поэзию начала века от декадентских увлечений, от модернистской «зауми» к изящной и аскетической ясности русского поэтического стиля, каким он был создан гениальными поэтами XIX века. В сущности, акмеизм, как и символизм, оказался лишь новым витком в развитии русской поэзии по принципу спирали: делая новый поворот и возвышаясь над непосредственными предшественниками (главным образом символистами), он в своем движении возвращал поэзию к лучшим достижениям прошлого, XVIII и XIX веков. Акмеизм не сказал принципиально нового слова в русской поэзии; но сдвинул поэтическую ситуацию начала века с точки покоя, дал ей новый импульс.

Акмеисты оказались чрезвычайно энергичны в своей литературной деятельности. В 1911 – 1914 годах они объединились в группу «Цех поэтов». А сначала примкнули к журналу «Аполлон», где перед смертью сотрудничал Иннокентий Анненский, которого Гумилев почитал своим учителем. В 1912 – 1913 гг. основали собственный журнал «Гиперборей» (редактор – переводчик «Божественной комедии» М.Л. Лозинский). Выпустили также несколько альманахов «Цеха поэтов».

«Цех поэтов» являлся поэтической организацией с очень строгими внутренними правилами и твердо соблюдаемой дисциплиной (это позволило Блоку заподозрить Гумилева в диктаторстве и написать о «Цехе поэтов» резкую критическую статью «Без божества, без вдохновенья...», в которой он обвинял акмеистов в том, что они пытаются внести в поэзию «школьнический» принцип, тем самым извращая понятие «учитель и ученик»). Каждый член «Цеха» имел какой-то статус и должен был подчиняться требованиям цеховых авторитетов. Все это действительно напоминало средневековое строение ремесленного цеха, где отношения строились по линии «мастер и подмастерье». Новобранцы принимались в «Цех» в результате строгого отбора и выполняли задания старших, предлагавших стихотворные темы и жанры, в которых те были обязаны проявить себя.

Попасть в «Цех» было непросто. Например, в него не приняли уже известного

скандальными стихами Игоря Северянина, которого привел туда в 1912 году Георгий Иванов, вспоминая через много лет: «По дороге в Цех Северянин, свежесбрившийся, напудренный, тщательно причесанный, в лучшем своем костюме и новом галстуке, сильно волновался и все повторял, что едет в Цех только для того, чтобы увидеть эту бездарь... и показать им себя – настоящего гения.

Гумилев, синдик Цеха поэтов, принял его со свойственным ему высокомерием и важной снисходительностью и слушал его стихи холодно и строго. Северянин начал читать их преувеличенно распевно, но под холодным, строгим взглядом Гумилева все больше терял самоуверенность. Вдруг Гумилев оживился:

– Как? Как? Повторите!

Северянин повторил:

И, пожалуйста, в соус
Положите анчоус.

– А где, скажите, вы такой удивительный соус ели?

Северянин совершенно растерялся и покраснел:

– В буфете Царскосельского вокзала.

– Неужели? А мы там часто под утро, возвращаясь домой в Царское, едим яичницу из обрезков – коронное их блюдо. Я и не предполагал, что там готовят такие гастрономические изыски. Завтра же закажу ваш соус! Ну, прочтите еще что-нибудь!

Но от дальнейшего чтения Северянин резко отказался и, не дожидаясь баллотировки, ушел.

Ушел в ярости на Гумилева...»

«Цех поэтов» просуществовал до Первой мировой войны. Попытка его возобновления в 1920-м была прервана политикой большевиков в области литературы. Но главным образом конец «Цеха» был связан с расстрелом Гумилева в 1921 году.

По свидетельству Георгия Адамовича, близкого к школе акмеистов, Анна Ахматова говорила о Мандельштаме: «конечно, наш первый поэт». Правда, в отличие от Гумилева и Городецкого, Мандельштам сначала не принимал непосредственного участия в борьбе. Первая подборка его стихотворений, напечатанная в «Аполлоне» (1910), не была подкреплена участием в критической полемике вокруг акмеизма и символизма. Мандельштам в то время жил за границей особняком. Зато его поздняя статья «Утро акмеизма» оказалась теоретически куда глубже известного гумилевского манифеста, многих удивившего своей беспомощностью в выборе исторических параллелей.

Можно сказать, что честь создания теории акмеизма больше принадлежит Мандельштаму, а не Гумилеву. Он взял от Гумилева понятие «целомудренности». Но разработал идею глубже.

В статье «Утро акмеизма» Мандельштам парадоксально противопоставляет понятия «бытие» и «действительность». Действительность есть материальная плоскость земного пространства, видимая глазом. В отличие от действительности бытие есть осмысленное существование в земном мире, который видится художником как целостное творение.

«Существовать – высшее самолюбие художника. Он не хочет другого рая, кроме бытия, и когда ему говорят о действительности, он только горько усмехается, потому что знает бесконечно более убедительную действительность искусства».

Однако задача художника не творить «иные миры», а отражать подлинную реальность, возводя действительность на более высокую ступень – уровень бытия: «поэт возводит явление в десятизначную степень, и скромная внешность произведения искусства нередко обманывает нас относительно чудовищно-уплотненной реальности, которой оно обладает».

Целомудрие поэта в том, что он не делает вид, будто прозревает какие-то другие, ирреальные миры, но с достоинством скульптора и архитектора уважает «здешний», земной

материал для творчества. Именно в «тяжести» земного материала он прозревает свои воздушные пути, создавая из него легчайшее произведение искусства. Как древний скульптор в бесформенном куске мрамора видит облик богини, которая еще только возникнет под ударами его резца, так поэт «освобождает» земной материал (прежде всего само Слово) от посторонней тяжести и делает его легким произведением искусства. Но делает он это не произвольно, не путем насилия над материалом, а как бы «сотрудничая» с ним, строго соблюдая его собственные законы.

С огромным презрением Мандельштам писал о футуристах, которые, преодолев туманность символистского запредельного смысла, вовсе отказались от смысла и ввергли поэзию в хаос бессмысленности: «Футурист, не справившись с сознательным смыслом как с материалом творчества, легкомысленно выбросил его за борт и по существу повторил грубую ошибку своих предшественников». Другими словами, футуристы возвратились к символистской бессмысленности, только на низменном материальном уровне. Они не нашли золотого союза между реальной вещью и вещью в искусстве, между материалом для творчества и самим творчеством.

В качестве главных предтеч акмеизма Мандельштам указывал средневековую архитектуру и музыку Баха. В них он увидел «мощь доказательства» и «пафос строения». Бах так же гениально «строил» свою музыку, исходя из незыблемых законов музыкального ряда, как строитель Notre Dame строил великий собор, повинаясь законам архитектурного творчества (сопротивление материала, соотносимость различных частей и т. д.).

Сложно сказать, в какой степени поэтическая теория акмеизма Мандельштама обрела «мощь доказательства» в его стихах. Как и все поэтические теории, она одновременно и больше и меньше живой стихотворной практики. Но при более пристальном прочтении стихотворений поэта они после своей внешней музыкальности поражают именно искусством добротнейшего строения. При всей своей зыбкости образы Мандельштама настолько прочно сцеплены один с другим, что их невозможно разять или заменить один образ на другой: стихотворение тотчас утратит свою упругую силу и рухнет, как свод собора, в который забыли заложить одну-единственную несущую балку или, допустим, сделали ее не из положенного материала, перепутав дерево и камень. При внешней капризности эти образы нанизаны друг на друга достаточно жестко, а их повторяемость необходима для целостного впечатления, как в симфонии необходима повторяемость отдельных музыкальных тем.

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладю когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
На головах царей божественная пена, —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер – все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Это стихотворение надо сначала принять слухом, качаясь на волнах его ритма, а затем увидеть глазами, поразившись, как плавно, спокойно, но, главное, закономерно корабли греческих царей из «Илиады» Гомера, отправляющихся на войну с Троей, превращаются в журавлиный косяк, сухие страницы книги становятся тугими парусами, а бессонница, незаметно перетекая в сон, оказывается морем, шумящим у изголовья поэта. Только так

можно оценить самоценное искусство строения стиха, очень важное для Мандельштама.

Мандельштаму принадлежит самая точная поэтическая формула рубежа веков, времени катастрофического разрыва между старой и новой Россией:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?

Критики советского времени часто обвиняли Мандельштама в нежизненности его поэзии, якобы отвращенной от современности, от общественных тем. В конце жизни, оказавшись в творческом одиночестве, сосланный властью в Воронеж за дерзкие стихи о Сталине, он и сам пытался на уровне не слишком убедительных деклараций доказать свое советское поэтическое подданство и тем самым влиться в новую жизнь страны:

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля,
И скат ее твердеет добровольный...

Но куда убедительней звучит другое его поэтическое заявление:

Нет, никогда, ничей я не был современник...

В этой строке заключена и общественная позиция Мандельштама, который никогда не шел на сделку со временем, не пытался шагать с ним в ногу или угодливо забежать вперед, чем нередко грешили модернисты, особенно из футуристического лагеря. Задача его было иной: соединить достижения русской поэзии XVIII и XIX веков с новыми открытиями искусства и науки. Он понимал, что наивного, чистого творчества в XX веке быть не может. Но и в новых условиях русская поэзия может и должна сохранить свое лицо.

«Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему».

Этой парадоксальной формулой из статьи «Слово и культура» он выразил сущность своего отношения к наследию прошлого, совпадавшего с идеей Мережковского о том, что классическая русская литература нам, по сути, еще неизвестна, ее еще надо заново прочитать. Мандельштам отвергал ложный прогрессизм в понимании развития искусства. «Теория прогресса в литературе – самый грубый, самый отвратительный вид школьного невежества» («О природе слова»). Новатор в области поэтической формы, он был принципиальным консерватором в отношении к высшим задачам творчества.

Поэзия должна быть не просто стихами, но – организованной стихией, а слово в поэзии – Словом...

П. Басинский

Стихотворения

Автопортрет

В поднятьи головы крылатый
Намек – но мешковат сюртук;

В закрыты́и глаз, в покое рук —
Тайник движе́нья непочаты́и;

Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость, —
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!

Ранние стихи (1906)

* * *

Среди лесов, унылых и заброшенных,
Пусть остается хлеб в полях нескошенным!
Мы ждем гостей незваных и непрошенных,
Мы ждем гостей!

Пускай гниют колосья перезрелые!
Они придут на нивы пожелтелые,
И не сносить вам, честные и смелые,
Своих голов!

Они растопчут нивы золотистые,
Они разроют кладбище тенистое,
Потом развяжет их уста нечистые
Кровавый хмель!

Они ворвутся в избы почернелые,
Зажгут пожар, хмельные, озверелые...
Не остановят их седины старца белые,
Ни детский плач!..

Среди лесов, унылых и заброшенных,
Мы оставляем хлеб в полях нескошенным.
Мы ждем гостей незваных и непрошенных,
Своих детей!

* * *

Тянется лесом дороженька пыльная,
Тихо и пусто вокруг.
Родина, выплавав слезы обильные,
Спит и во сне, как рабыня бессильная,
Ждет неизведанных мук.

Вот задрожали березы плакучие
И встрепенулися вдруг,
Тени легли на дорогу сыпучую:

Что-то ползет, надвигается тучею,
Что-то наводит испуг...

С гордой осанкою, с лицами сытыми...
Ноги торчат в стремях.
Серую пыль поднимают копытами
И колеи оставляют изрытыми...
Все на холеных конях.

Нет им конца. Заостренными пиками
В солнечном свете пестрят.
Воздух наполнили песней и криками,
И огоньками звериными, дикими
Черные очи горят...

Прочь! Не тревожьте поддельным веселием
Мертвого, рабского сна.
Скоро порадуют вас новоселием,
Хлебом и солью, крестьянским изделием...
Крепче нажать стремя!

Скоро столкнется с звериными силами
Дело великой любви!
Скоро покроется поле могилами,
Синие пики обнимутся с вилами
И обагрятся в крови!

Камень (1908 – 1915)

* * *

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...

* * *

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!

* * *

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Всё большое далёко развеять,
Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

* * *

Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И всё твое —
От неизбежного.

От неизбежного —
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.

* * *

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко, —

Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.

* * *

Есть целомудренные чары:
Высокий лад, глубокий мир;
Далёко от эфирных лир
Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.

Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел!

Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.

* * *

Дано мне тело – что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло,

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пуškai мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть!

* * *

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена
Истомой – сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.

Немного красного вина,
Немного солнечного мая —
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна...

* * *

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

* * *

Когда удар с ударами встречается,
И надо мною роковой
Неутомимый маятник качается
И хочет быть моей судьбой,

Торопится, и грубо остановится,
И упадет веретено, —
И невозможно встретиться, условиться,
И уклониться не дано.

Узоры острые переплетаются,

И всё быстрее и быстрей
Отравленные дротики взвиваются
В руках отважных дикарей...

* * *

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.

Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы не тронута зимой;

И если в ледяных алмазах
Струится вечности мороз,
Здесь – трепетание стрекоз
Быстроживущих, синеглазых.

Silentium

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазуревом сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

* * *

Слух чуткий – парус натягает,

Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенной холста;
Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!

* * *

Как тень внезапных облаков,
Морская гостья налетела
И, проскользнув, прошелестела
Смущенных мимо берегов.

Огромный парус строго реет;
Смертельно-бледная волна
Отпрянула – и вновь она
Коснуться берега не смеет;

И лодка, волнами шурша,
Как листьями, – уже далёко...
И, принимая ветер рока,
Раскрыла парус свой душа.

* * *

Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

* * *

В огромном омуте прозрачно и темно,
И томное окно белеет;
А сердце, отчего так медленно оно
И так упорно тяжелеет?

То всю тяжестью оно идет ко дну,
Соскучившись по милом иле,
То, как соломинка, минуя глубину,
Наверх всплывает без усилий.

С притворной нежностью у изголовья стой
И сам себя всю жизнь баюкай,
Как небылицею, своей томись тоской
И ласков будь с надменной скукой.

* * *

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.

А я вверяюсь их заботе.
Мне холодно, я спать хочу;
Подбросило на повороте,
Навстречу звездному лучу.

Горячей головы качанье
И нежный лед руки чужой,
И темных елей очертанья,
Еще невиданные мной.

* * *

Скудный луч, холодной мерою,
Сеет свет в сыром лесу.
Я печаль, как птицу серую,
В сердце медленно несу.

Что мне делать с птицей раненой?
Твердь умолкла, умерла.
С колокольни отуманенной
Кто-то снял колокола,

И стоит осиротелая
И немая вышина —
Как пустая башня белая,
Где туман и тишина.

Утро, нежностью бездонное, —
Полу-явь и полу-сон,
Забвенье неутоленное —
Дум туманный перезвон...

* * *

Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и не страшно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек:
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!

Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы,
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.

Небо тусклое с отцветом странным —
Мировая туманная боль —
О, позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь!

* * *

Сегодня дурной день:
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень —
Мрачней гробовых плит.

Мелькающих стрел звон
И вещей ворон крик...
Я вижу дурной сон,
За мигом летит миг.

Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть,
И яростный гимн грянь —
Бунтующих тайн медь!

О, маятник душ строг —
Качается глух, прям,
И страстно стучит рок
В запретную дверь, к нам...

* * *

Смутно-дышащими листьями
Черный ветер шелестит,
И трепещущая ласточка
В темном небе круг чертит.

Тихо спорят в сердце ласковом
Умирающем моем
Наступающие сумерки
С догорающим лучом.

И над лесом вечереющим
Встала медная луна;
Отчего так мало музыки
И такая тишина?

* * *

Отчего душа – так певуча,
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм – только случай,
Неожиданный Аквилон?

Он подымет облако пыли,
Зашумит бумажной листвою,
И совсем не вернется – или
Он вернется совсем другой...

О широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края —
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».

Я блуждал в игрушечной чаше
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

Раковина

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.

Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь;
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.

Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей;

И хрупкой раковины стены,
Как нежилого сердца дом,
Наполнишь шепотами пены,
Туманом, ветром и дождем...

* * *

На перламутровый челнок
Натягивая шелка нити,
О пальцы гибкие, начните
Очаровательный урок!

Приливы и отливы рук —
Однообразные движенья,
Ты заклинаешь, без сомненья,
Какой-то солнечный испуг, —

Когда широкая ладонь,
Как раковина, пламенея,
То гаснет, к теням тяготея,
То в розовый уйдет огонь!

* * *

О небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

* * *

Я вздрагиваю от холода —
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото —
Приказывает мне петь.

Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай легкий мяч!

Так вот она – настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!

Что, если, вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда?

* * *

Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй, мой давний бред —
Башни стрельчатой рост!

Кружевом, камень, будь
И паутиной стань:
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань!

Будет и мой черед —
Чую размах крыла.
Так – но куда уйдет
Мысли живой стрела?

Или, свой путь и срок,
Я, исчерпав, вернусь:
Там – я любить не мог,
Здесь – я любить боюсь...

* * *

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязть.
«Господи!» – сказал я по ошибке,

Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

* * *

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
«Который час?» – его спросили здесь,
А он ответил любопытным: «вечность».

Пешеход

М.Л. Лозинскому

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот;
Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!

И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостках,
Я слушаю – как снежный ком растет
И вечность бьет на каменных часах.

Когда бы так! Но я не путник тот,
Мелькающий на выцветших листьях,
И подлинно во мне печаль поет;

Действительно, лавина есть в горах!
И вся моя душа – в колоколах,
Но музыка от бездны не спасет!

Казино

Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа – серое пятно;
Мне, в опьяненьи легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой.

Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
И бездыханная, как полотно,
Душа висит над бездною проклятой.

Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой;

И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино, —
Люблю следить за чайкою крылатой!

Царское Село

Георгию Иванову

Поедем в Царское Село!
Там улыбаются мещанки,
Когда гусары после пьянки
Садятся в крепкое седло...
Поедем в Царское Село!

Казармы, парки и дворцы,
А на деревьях – клочья ваты,
И грянут «здравия» раскаты
На крик «здорово, молодцы!»
Казармы, парки и дворцы...

Одноэтажные дома,
Где однодумы-генералы
Свой коротают век усталый,
Читая «Ниву» и Дюма...
Особняки – а не дома!

Свист паровоза... Едет князь.
В стеклянном павильоне свита!..
И, саблю волоча сердито,
Выходит офицер, кичась, —
Не сомневаюсь – это князь...

И возвращается домой —
Конечно, в царство этикета,
Внушая тайный страх, карета
С мощами фрейлины седой —
Что возвращается домой...

Золотой

Целый день сырой осенний воздух
Я вдыхал в смятении и тоске;
Я хочу поужинать, и звезды
Золотые в темном кошельке!

И, дрожа от желтого тумана,
Я спустился в маленький подвал;
Я нигде такого ресторана
И такого сброда не видал!

Мелкие чиновники, японцы,
Теоретики чужой казны...
За прилавком щупает червонцы
Человек, – и все они пьяны.

– Будьте так любезны, разменяйте, —
Убедительно его прошу, —
Только мне бумажек не давайте —
Трехрублевков я не выношу!

Что мне делать с пьяною оравой?
Как попал сюда я, боже мой?
Если я на то имею право —
Разменяйте мне мой золотой!

Лютеранин

Я на прогулке похороны встретил
Близ протестантской кирки, в воскресенье,
Рассеянный прохожий, я заметил
Тех прихожан суровое волнение.

Чужая речь не достигала слуха,
И только упряжь тонкая сияла,
Да мостовая праздничная глухо
Ленивые подковы отражала.

А в эластичном сумраке кареты,
Куда печаль забила, лицемерка,
Без слов, без слез, скупая на приветы,
Осенних роз мелькнула бутоньерка.

Тянулись иностранцы лентой черной,
И шли пешком заплаканные дамы,
Румянец под вуалью, и упорно
Над ними кучер правил вдаль, упрямый.

Кто б ни был ты, покойный лютеранин,
Тебя легко и просто хоронили.

Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.

И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.

Айя-София

Айя-София – здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.

И всем векам – пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон – света торжество;
На парусах, под куполом, четыре
Архангела – прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.

Notre Dame

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, – и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,

Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь —
отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

Старик

Уже светло, поет сирена
В седьмом часу утра.
Старик, похожий на Верлена,
Теперь твоя пора!

В глазах лукавый или детский
Зеленый огонек;
На шею нацепил турецкий
Узорчатый платок.

Он богохульствует, бормочет
Несвязные слова;
Он исповедоваться хочет —
Но согрешить сперва.

Разочарованный рабочий
Иль огорченный мот —
А глаз, подбитый в недрах ночи,
Как радуга цветет.

А дома – руганью крылатой,
От ярости бледна, —
Встречает пьяного Сократа
Суровая жена!

Петербургские строфы

Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.

Чудовищна – как броненосец в доке —
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой – посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената – вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка.

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений – бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

* * *

Дев полуночных отвага
И безумных звезд разбег,
Да привяжется бродяга,
Вымогая на ночлег.

Кто, скажите, мне сознание
Виноградом замутит,
Если явь – Петра созданье,
Медный всадник и гранит?

Слышу с крепости сигналы,
Замечаю, как тепло.
Выстрел пушечный в подвалы,
Вероятно, донесло.

И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы.

Бах

Здесь прихожане – дети праха

И доски вместо образов,
Где мелом, Себастьяна Баха,
Лишь цифры значатся псалмов.

Разноголосица какая
В трактирах буйных и в церквах,
А ты ликуешь, как Исая,
О рассудительнейший Бах!

Высокий спорщик, неужели,
Играя внукам свой хорал,
Опору духа в самом деле
Ты в доказательстве искал?

Что звук? Шестнадцатые доли,
Органа многосложный крик —
Лишь воркотня твоя, не боле,
О несговорчивый старик!

И лютеранский проповедник
На черной кафедре своей
С твоими, гневный собеседник,
Мешает звук своих речей!

* * *

В спокойных пригородах снег
Стребают дворники лопатами;
Я с мужиками бородатыми
Иду, прохожий человек.

Мелькают женщины в платках,
И твякают дворняжки шалые,
И самоваров розы алые
Горят в трактирах и домах.

* * *

Мы напряженного молчанья не выносим —
Несовершенство душ обидно, наконец!
И в замешательстве уж объявился чтец,
И радостно его приветствовали: «Просим!»

Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо!
Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье – суета, и слово – только шум,
Когда фонетика – служанка серафима.

О доме Эшеров Эдгара пела арфа.
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк...
И горло греет шелк щекочущего шарфа...

Адмиралтейство

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали, воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота – не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря;
И вот разорваны трех измерений узы,
И открываются всемирные моря!

* * *

В таверне воровская шайка
Всю ночь играла в домино.
Пришла с яичницей хозяйка;
Монахи выпили вино.

На башне спорили химеры:
Которая из них урод?
А утром проповедник серый
В палатки призывал народ.

На рынке возятся собаки,
Менялы щелкает замок.
У вечности ворует всякий,
А вечность – как морской песок:

Он осыпается с телеги —
Не хватит на мешки рогож —
И, недовольный, о ночлеге
Монах рассказывает ложь!

Кинематограф

Кинематограф. Три скамейки.
Сантиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.

Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.

А он скитается в пустыне,
Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы-графини.

И в исступленьи, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

В груди доверчивой и слабой
Еще достаточно отваги
Похитить важные бумаги
Для неприятельского штаба.

И по каштановой аллее
Чудовищный мотор несется.
Стрекочет лента, сердце бьется
Тревожнее и веселее.

В дорожном платье, с саквояжем,
В автомобиле и в вагоне,
Она боится лишь погони,
Сухим измучена миражем.

Какая горькая нелепость:
Цель не оправдывает средства!
Ему – отцовское наследство,
А ей – пожизненная крепость!

Теннис

Средь аляповатых дач,
Где шатается шарманка,
Сам собой летает мяч,

Как волшебная приманка.

Кто, смиривший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?

Слишком дряхлы струны лир:
Золотой ракеты струны
Укрепил и бросил в мир
Англичанин вечно юный!

Он творит игры обряд,
Так легко вооруженный,
Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный!

Май. Грозóвых туч клочки.
Неживая зелень чахнет.
Всё моторы и гудки —
И сирень бензином пахнет.

Ключевую воду пьет
Из ковша спортсмен веселый;
И опять война идет,
И мелькает локоть голый!

Американка

Американка в двадцать лет
Должна добраться до Египта,
Забыв «Титаника» совет,
Что спит на дне мрачнее крипта.

В Америке гудки поют,
И красных небоскребов трубы
Холодным тучам отдают
Свои прокопченные губы.

И в Лувре океана дочь
Стоит, прекрасная, как тополь;
Чтоб мрамор сахарный толочь,
Влезает белкой на Акрополь.

Не понимая ничего,
Читает «Фауста» в вагоне
И сожалеет, отчего
Людовик больше не на троне.

Домби и сын

Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык —
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.

У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.

Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик Домби-сын;
Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.

В конторе сломанные стулья;
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.

А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле —
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.

На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.

* * *

Отравлен хлеб и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!

Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.

Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня, — событий
Рассеивается туман;

И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Всё исчезает – остается
Пространство, звезды и певец!

* * *

Летают валькирии, поют смычки.
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов;
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.

* * *

На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь народ
Делает корзинки —
Из соломы плетет
Легкие корзинки.

На луне – полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома —
Просто голубятни,
Голубые дома —
Чудо-голубятни...

Ахматова

Вполоборота – о, печаль! —
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос – горький хмель —
Души расковывает недра:
Так – негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

* * *

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят,
И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят.

На стук в железные ворота
Привратник, царственно-ленив,
Встал, и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф,

Когда с дряхлеющей любовью,
Мешая в песнях Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег.

* * *

На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг —
И распластался храм Господень,
Как легкий крестовик-паук.

А зодчий не был итальянец,
Но русский в Риме; ну так что ж!
Ты каждый раз, как иностранец,
Сквозь рощу портиков идешь;

И храма маленькое тело
Одушевленное стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле беспомощно прижат!

* * *

Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера.
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурой зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты;
Волеы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

* * *

«Морожено!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы мечтанье летит.

Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть —
И в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...

Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка —
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.

И боги не ведают – что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.

* * *

Природа – тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.

Природа – тот же Рим! И, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить —
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

* * *

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью брэнной:
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны;
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари!

* * *

Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!

Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет;
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

Европа

Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен водой последний материк;
К широкой Азии, к Америке привык,
Слабеет океан, Европу омывая.

Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья;
Немного женственны заливов очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга.

Завоевателей исконная земля,
Европа в рубище Священного союза;
Пята Испании, Италии медуза,
И Польша нежная, где нету короля;

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних, —
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

Посох

Посох мой, моя свобода —

Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.

А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.

Снег растает на утесах —
Солнцем истины палим...
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!

Ода Бетховену

Бывает сердце так сурово,
Что и любя его не тронь!
И в темной комнате глухого
Бетховена горит огонь.
И я не мог твоей, мучитель,
Чрезмерной радости понять —
Уже бросает исполнитель
Испепеленную тетрадь.

.....

.....

.....

Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,

.....

.....

С кем можно глубже и полнее
Всю чашу нежности испить;
Кто может, ярче пламеня,
Усиле воли освятить;
Кто по-крестьянски, сын фламандца,
Мир пригласил на ритуфель
И до тех пор не кончил танца,
Пока не вышел буйный хмель?

О Дионис, как муж, наивный
И благодарный, как дитя,

Ты перенес свой жребий дивный
То негодуя, то шутя!
С каким глухим негодованьем
Ты собирал с князей оброк
Или с рассеянным вниманьем
На фортепьянный шел урок!

Тебе монашеские кельи —
Всемирной радости приют,
Тебе в пророческом весельи
Огнепоклонники поют;
Огонь пылает в человеке,
Его унять никто не мог.
Тебя назвать не смели греки,
Но чтили, неизвестный бог!

О, величавой жертвы пламя!
Полнеба охватил костер —
И царской скинии над нами
Разодран шелковый шатер.
И в промежутке воспаленном,
Где мы не видим ничего, —
Ты указал в чертоге тронном
На белой славы торжество!

* * *

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо;
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.

* * *

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.

В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово – чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены,
Но от ереси прекрасной
Мы спастись не должны.

Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.

* * *

*«Hier stehe ich —
ich kann nicht anders...»*

«Здесь я стою – я не могу иначе»:
Не просветлеет темная гора —
И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра.

Аббат

О, спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя —
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля;
Он всё еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи,
Влача остаток власти Рима
Среди колосьев спелой ржи.

Храня молчанье и приличье,
Он должен с нами пить и есть
И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона на перине
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились богу в старину.

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы

И, говоря со мной, заметил:
«Католиком умрете вы!»
Потом вздохнул: «Как нынче жарко!»
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он.

* * *

От вторника и до субботы
Одна пустыня пролегла.
О, длительные перелеты!
Семь тысяч верст – одна стрела.

И ласточки, когда летели
В Египет водяным путем,
Четыре дня они висели,
Не зачерпнув воды крылом.

* * *

О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
– Ты побудь со мной сначала, —
Верность плакала в ночи, —

Только я мою корону
Возлагаю на тебя,
Чтоб свободе, как закону,
Подчинился ты, любя...

– Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму.

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!

* * *

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,

Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головах царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер – всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот, Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

* * *

С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.

Топча по осени дубовые листья,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты —
Сей профиль женственный с коварною
горбинкой!

Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.

Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была,
И – месяц Цезаря – мне август улыбнулся.

* * *

Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С прокóпченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.

И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:

– Как эти покрывала мне постылы...

И камень отрицает иго праха?

И деревянной поступью монаха
Мощный двор когда-то мерил ты,
Булыжники и грубые мечты —
В них жажда смерти и тоска размаха...

Так проклят будь, готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут!

Немногие для вечности живут;
Но если ты мгновенным озабочен,
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!

* * *

Поговорим о Риме – дивный град!
Он утвердился купола победой.
Послушаем апостольское credo:
Несется пыль и радуги висят.

На Авентине вечно ждут царя —
Двунадесятых праздников кануны —
И строго-канонические луны
Не могут изменить календаря.

На дольный мир бросает пепел бурый
Над Форумом огромная луна,
И голова моя обнажена —
О, холод католической тонзуры!

* * *

Есть ценностей незыблемая скала
Над скучными ошибками веков.
Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов.

И вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль.

Что делать вам в театре полуслова
И полумаск, герои и цари?
И для меня явленье Озерова —
Последний луч трагической зари.

* * *

Ни триумфа, ни войны!
О железные, доколе
Безопасный Капитолий
Мы хранить осуждены?

Или римские перуны —
Гнев народа – обманув,
Отдыхает острый клюв
Той ораторской трибуны;

Или возит кирпичи
Солнца дряхлая повозка
И в руках у недоноска
Рима ржавые ключи?

Encyclica

Есть обитаемая духом
Свобода – избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел.

И голубь не боится грома,
Которым церковь говорит;
В апостольском созвучьи: Roma!
Он только сердце веселит.

Я повторяю это имя
Под вечным куполом небес,
Хоть говоривший мне о Риме
В священном сумраке исчез!

* * *

Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи-овцы – черные халдеи,
Исчадь ночи в капюшонах тьмы.

Их тысячи – передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени,
Трясутся и бегут в курчавой пене,
Как жеребья в огромном колесе.

Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семью холмами,
Собачий лай, костер под небесами
И горький дым жилища, и овин.

На них кустарник двинулся стеной
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелою волной.

* * *

– Я потеряла нежную камею,
Не знаю где, на берегу Невы.
Я римлянку прелестную жалею, —
Чуть не в слезах мне говорили вы.

Но для чего, прекрасная грузинка,
Тревожить прах божественных гробниц?
Еще одна пушистая снежинка
Растаяла на веере ресниц.

И кроткую вы наклонили шею.
Камеи нет – нет римлянки, увы!
Я Тинотину смуглую жалею —
Девичий Рим на берегу Невы.

Tristia (1916 – 1920)

* * *

– Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!

– Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда

.....
.....

И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.

О, если б ненависть в груди моей кипела —
Но, видите, само признание с уст слетело.

– Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня.
Погребальный факел чадит
Среди белого дня.
Бойся матери ты, Ипполит;
Федра-ночь тебя сторожит
Среди белого дня.

– Любовью черною я солнце запятнала!
Смерть охладит мой пыл из чистого фиала.

– Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.
Уязвленная Тезеем,
На него напала ночь.
Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уйдем.

Зверинец

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран – эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом, опять,
Поют косматые свирели.

Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы, —
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.

А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пусть уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!

Петух и лев, широкохмурый

Орел и ласковый медведь —
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времен —
Источник речи италийской,
И, в колыбели праарийской,
Славянский и германский лён!

Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи, —
Орел топорщится и злится:
Что, если для твоей пращи
Холодный камень не годится?

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей —
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.

* * *

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече —
И никогда он Рима не любил.

Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.

Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;

Царевича везут, немеет страшно тело —
И рыжую солому подожгли.

* * *

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,
Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.

* * *

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем, —
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

* * *

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы,
— Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы

.....

.....

Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелось на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкой туманной

Остаться – значит, быть беде.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой,
Я знаю: он остался белый
Под смуглой прядью золотой.
Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.

Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

* * *

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло!
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее —
Баю-баюшки-баю —
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.

* * *

Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин —
Он, отторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.

А теперь друзья-островитяне
Снаряжают наши корабли —
Не любили раньше англичане
Европейской сладостной земли.

О Европа, новая Эллада,
Охраняй Акрополь и Пирей!
Нам подарков с острова не надо —
Целый лес незваных кораблей.

Соломинка

I

Когда, соломинка, не спишь в огромной
спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью – что может быть
печальней —
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их – такая тишина, —
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не Соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не Соломинка – Лигейя, умиранье, —
Я научился вам, блаженные слова.

II

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не Соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та – Соломинка, быть может – Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь.

Декабрист

– Тому свидетельство языческий сенат —
Сии дела не умирают! —
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири,
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы.
Европа плакала в тенетах.
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит.
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

– Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Всё перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Всё перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

* * *

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка

успела:
– Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба
занесла,
Мы совсем не скучаем, – и через плечо
поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки, – идешь, никого
не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни:
Далеко в шалаше голоса – не поймешь,
не ответишь.

После чаю мы вышли в огромный коричневый
сад,
Как ресницы, на окнах опущены темные
шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть
виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные
горы.

Я сказал: виноград, как старинная битва,
живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом
порядке,
В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

Ну а в комнате белой, – как прялка, стоит
тишина.
Пахнет уксусом, краской и свежим вином
из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми
жена —
Не Елена – другая – как долго она вышивала?

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях
полотно,
Одиссей возвратился, пространством
и временем полный.

* * *

Еще далёко асфodelей
Прозрачно-серая весна,
Пока еще на самом деле
Шуршит песок, кипит волна.

Но здесь душа моя вступает,
Как Персефона, в легкий круг;
И в царстве мертвых не бывает
Прелестных, загорелых рук.

Зачем же лодке доверяем
Мы тяжесть урны гробовой
И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой?
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!

Как быстро тучи пробегают
Неосвященную грядой,
И хлопья черных роз летают
Под этой ветряной луной.
И, птица смерти и рыдания,
Влачится траурной каймой
Огромный флаг воспоминанья
За кипарисною кормой.

И раскрывается с шуршаньем
Печальный веер прошлых лет —
Туда, где с темным содроганьем
В песок зарылся амулет;
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон!

* * *

А.В. Карташеву

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалась над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: «Небес тревожна желтизна.
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!»
А старцы думали: не наша в том вина;
Се черно-желтый свет, се радость Иудеи.

Он с нами был, когда, на берегу ручья,
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.

* * *

Твое чудесное произношенье —
Горячий посвист хищных птиц;
Скажу ль: живое впечатленье
Каких-то шелковых зарниц.

«Что» – голова отяжелела.
«Цо» – это я тебя зову!
И далеко прошелестело:
Я тоже на земле живу.

Пусть говорят: любовь крылата,
Смерть окрыленное стократ;
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.

И столько воздуха и шелка
И ветра в шепоте твоём,
И, как слепые, ночью долгой
Мы смесь бессолнечную пьем.

* * *

Что поют часы-кузнечик,
Лихорадка шелестит,
И шуршит сухая печка —
Это красный шелк горит.

Что зубами мыши точат
Жизни тоненькое дно —
Это ласточка и дочка
Отвязала мой челнок.

Что на крыше дождь бормочет —
Это черный шелк горит.
Но черемуха услышит
И на дне морском: прости.

Потому что смерть невинна,
И ничем нельзя помочь,
Что в горячке соловьиной
Сердце теплое еще.

* * *

Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума,
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима.

В серебряном ведре нам предлагает стужа
Валгаллы белое вино,
И светлый образ северного мужа
Напоминает нам оно.

Но северные скальды грубы,
Не знают радостей игры,
И северным дружинам любы
Янтарь, пожары и пиры.

Им только снится воздух юга —
Чужого неба волшебство,
И все-таки упрямая подруга
Откажется попробовать его.

Кассандре

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре – торжественное бденье —
Воспоминанье мучит нас!

И в декабре семнадцатого года
Всё потеряли мы, любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике, на берегу Невы,
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...

Но если эта жизнь – необходимость бреда
И корабельный лес – высокие дома, —
Лети, безрукая победа,
Гиперборейская чума!

На площади с броневиками
Я вижу человека: он
Волков горящими пугает головнями —
Свобода, равенство, закон!

* * *

В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа,
Нам пели Шуберта – родная колыбель!
Шумела мельница, и в песнях урагана
Смеялся музыки голубоглазый хмель.

Старинной песни мир – коричневый, зеленый,
Но только вечно-молодой,
Где соловьиных лип рокошующие кроны
С безумной яростью качает царь лесной.

И сила страшная ночного возвращенья
Та песня дикая, как черное вино:
Это двойник – пустое привиденье —
Бессмысленно глядит в холодное окно!

* * *

На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда мерцает.
О, если ты звезда, – воде и небу брат,
Твой брат, Петрополь, умирает.

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет —
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась. Воск бессмертья тает.
О, если ты звезда, – Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает.

* * *

Когда в теплой ночи замирает
Лихорадочный форум Москвы
И театров широкие зевы
Возвращают толпу площадям —

Протекает по улицам пышным
Оживленье ночных похорон:

В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье,
Последний час вигилий городских.
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели вдаль заплаканные очи
И женский плач мешался с пеньем муз.

Кто может знать при слове – расставанье,
Какая нам разлука предстоит?
Что нам сулит петушьё восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит?
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в снях лениво вол жуёт,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьёт?

И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит.
Смотри: навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!
О, нашей жизни скудная основа!
Куда как беден радости язык!
Всё было встарь. Всё повторится снова.
И сладок нам лишь узнаванья миг.

Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск – что для мужчины медь,
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть.

* * *

На каменных отрогах Пиэрии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенек.

Высокий дом построил плотник дюжий.
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва, беспалая, ползет.
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет —
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет.

Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава,
На радость осам пахнет медуница.
О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко.

* * *

В хрустальном омуте какая крутизна!
За нас сиенские предстательствуют горы,
И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина.

С висячей лестницы пророков и царей
Спускается орган, святого духа крепость,
Овчарок бодрый лай и добрая свирепость,
Овчины пастухов и посохи судей.

Вот неподвижная земля, и вместе с ней
Я христианства пью холодный горный воздух,
Крутое «Верую» и псалмопевца роздых,
Ключи и рубища апостольских церквей.

Какая линия могла бы передать
Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном,
И с христианских гор в пространстве
изумленном,
Как Палестрины песнь, нисходит благодать.

* * *

Тонкий воздух кожи. Синие прожилки.
Белый снег. Зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха:
Тяжелее платины Сатурново кольцо!
Черным бархатом завешенная плаха
И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.

Только в пальцах роза или склянка —
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

Черный Веспер в зеркале мерцает.
Всё проходит. Истина темна.
Человек рождается. Жемчуг умирает.
И Сусанна старцев ждать должна.

Феодосия

Окружена высокими холмами,
Овечьим стадом ты с горы сбегаешь
И розовыми, белыми камнями
В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.
Качаются разбойничьи фелюги,
Горят в порту турецких флагов маки,
Тростинки мачт, хрусталь волны упругий
И на канатах лодочки-гамáки.

На все лады, оплаканное всеми,
С утра до ночи «яблочко» поется.
Уносит ветер золотое семя —
Оно пропало, больше не вернется.
А в переулочках, чуть свечерело,
Пиликают, согнувшись, музыканты,
По двое и по трое, неумело,
Невероятные свои варьянты.

О, горбоносых странников фигурки!
О, средиземный радостный зверинец!
Расхаживают в полотенцах турки,
Как петухи, у маленьких гостиниц.
Везут собак в тюрьмоподобной фуре,
Сухая пыль по улицам несется,
И хладнокровен средь базарных фурий
Монументальный повар с броненосца.

Идем туда, где разные науки
И ремесло – шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятие нам о человеке.
Мужской сюртук – без головы стремленья,
Цирюльника летающая скрипка
И месмерический уют – явление
Небесных прачек – тяжести улыбка.

Здесь девушки стареющие в челках
Обдумывают странные наряды,
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехерезады.
Прозрачна даль. Немного винограда.
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

* * *

Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной, —
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

Навстречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем,
И руки слабые ломают перед ней
С недоумением и робким упованьем.

Кто держит зеркальце, кто баночку духов,
Душа ведь – женщина, ей нравятся безделки! —
И лес безлиственный прозрачных голосов
Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.

И в нежной сутолке, не зная, что начать,
Душа не узнает прозрачные дубравы,
Дохнет на зеркало и медлит передать
Лепешку медную с туманной переправы.

* * *

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет.
Прозрачны гривы табуна ночного.
В сухой реке пустой челнок плывет.
Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растет, как бы шатер или храм:
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам,
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья:
Я так боюсь рыданья аонид,
Тумана, звона и зиянья!

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется!
Но я забыл, что я хочу сказать, —
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Всё не о том прозрачная твердит,
Всё – ласточка, подружка, Антигона...
А на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.

* * *

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Всё поют блаженных жен родные очи,
Всё цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:

За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах» —
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

Где-то хоры сладкие Орфея
И родные темные зрачки,
И на грядки кресел с галереи
Падают афиши-голубки.
Что ж, гаши, пожалуй, наши свечи,
В черном бархате всемирной пустоты
Всё поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

* * *

Чуть мерцает призрачная сцена,
Хоры слабые теней,
Захлестнула шелком Мельпомена
Окна храмины своей.
Черным табором стоят кареты,
На дворе мороз трещит,
Всё космато: люди и предметы,
И горячий снег хрустит.

Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха.
В суматохе бабочка летает.
Розу кутают в меха.
Модной пестряди кружки и мошки.
Театральный легкий жар,
А на улице мигают плоски
И тяжелый валит пар.

Кучера измаялись от крика,
И храпит и дышит тьма.
Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас студеная зима.
Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник.

Пахнет дымом бедная овчина.
От сугроба улица черна.
Из блаженного, певучего притина
К нам летит бессмертная весна;
Чтобы вечно ария звучала:
«Ты вернешься на зеленые луга», —
И живая ласточка упала
На горячие снега.

* * *

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит.

Над Курою есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов!

Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить, —
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое:
Одному не надо пить!

В самом маленьком духане
Ты обманщика найдешь,
Если спросишь «Гелиани» —
Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в бутылке поплывешь.

Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым...

* * *

Мне жалко, что теперь зима
И комаров не слышно в доме,
Но ты напомнила сама
О легкомысленной соломе.

Стрекозы вьются в синеве,
И ласточкой кружится мода,
Корзиночка на голове —
Или напыщенная ода?

Советовать я не берусь,
И бесполезны отговорки,
Но взбитых сливок вечен вкус
И запах апельсинной корки.

Ты всё толкуешь наобум,
От этого ничуть не хуже,
Что делать, самый нежный ум
Весь помещается снаружи.

И ты пытаешься желток
Взбивать рассерженною ложкой,
Он побелел, он изнемог —
И все-таки еще немножко.

И право, не твоя вина —
Зачем оценки и изнанки, —
Ты как нарочно создана
Для комедийной перебранки.

В тебе всё дразнит, всё поет,
Как итальянская рулада,
И маленький вишневый рот
Сухого просит винограда.

Так не старайся быть умней,
В тебе всё прихоть, всё минута.
И тень от шапочки твоей —
Венецианская баута.

* * *

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки.
Не услышать в меха обутой тени.
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,

Их родина – дремучий лес Тайгета,
Их пища – время, медуница, мята...

Возьми ж на радость дикий мой подарок —
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших
в солнце!

* * *

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать —
Как я ненавижу пахучие, древние срубы!

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко.
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Как мог я подумать, что ты возвратишься,
как смел?
Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ
пошла,
И трижды приснился мужам соблазнительный
образ.

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов
скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся
вол,
На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

* * *

Когда городская выходит на стогны луна,

И медленно ей озаряется город дремучий,
И ночь нарастает, унынья и меди полна,
И грубому времени воск уступает певучий,

И плачет кукушка на каменной башне своей,
И бледная жница, сходящая в мир
бездыханный,
Тихонько шевелит огромные спицы теней
И желтой соломой бросает на пол
деревянный...

* * *

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.

Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
Как жертву палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь,
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.

Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятеньи
Вишневый нежный рот.

Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И всё, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.

* * *

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался...
Но всё растаяло – и только слабый звук
В туманной памяти остался.

Сначала думал я, что имя – серафим,
И тела легкого дичился,
Немного дней прошло, и я смешался с ним
И в милой тени растворился.

И снова яблоня теряет дикий плод,
И тайный образ мне мелькает,
И богохульствует, и сам себя клянет,
И угли ревности глотает.

А счастье катится, как обруч золотой,
Чужую волю исполняя,
И ты гоняешься за легкою весной,
Ладонью воздух рассекая.

И так устроено, что не выходим мы
Из заколдованного круга;
Земли девической упругие холмы
Лежат спеленатые туго.

Из других редакций «Tristia»

* * *

От легкой жизни мы сошли с ума:
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о пьяная чума?

В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи —
Когда речные тяжелеют струи
И фонари, как факелы, горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.

* * *

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе – великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

И Евхаристия, как вечный полдень, длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

* * *

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озираю на чудной высоте.
В стенах акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне – явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

* * *

О, этот воздух, смутой пьяный,
На черной площади Кремля!
Качают шаткий мир смутьяны,
Тревожно пахнут тополя.

Соборов восковые лики,
Колоколов дремучий лес,

Как бы разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез,

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно, и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зеленый,
И, мнится, заворкует вдруг.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь, —
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь...

* * *

Люблю под сводами седья тишины
Молебнов, панихид блужданье
И трогательный чин – ему же все должны —
У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе генисаретский мрак
Великопостныя седмицы.

Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирий,
Смиренник царственный – снег чистый
на плечах
И одичалые порфиры.

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового завета.

Не к вам влечется дух в години тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим.

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

Стихи 1921 – 1925 годов

Концерт на вокзале

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами, —
Дрожит вокзал от пенья аонид,
И снова, паровозными свистками
Разорванный, скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заморожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах.

И мнится мне: весь в музыке и пене
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит.

* * *

Умывался ночью на дворе —
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч – как соль на топоре,
Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова, —
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее,
Чище смерть, соленее беда,

И земля правдивей и страшнее.

* * *

Кому зима – арак и пунш голубоглазый,
Кому – душистое с корицею вино,
Кому – жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.

Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я всё отдам за жизнь – мне так нужна забота, —
И спичка серная меня б согреть могла.

Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,
И верещанье звезд щекочет слабый слух,
Но желтизну травы и теплоту суглинка
Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух.

Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
Как яблоня зимой, в рогоже голодать,
Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому,
И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.

Пусть заговорщики торопятся по снегу
Отарою овец и хрупкий наст скрипит,
Кому зима – полынь и горький дым к ночлегу,
Кому – крутая соль торжественных обид.

О, если бы поднять фонарь на длинной палке,
С собакой впереди идти под солью звезд,
И с петухом в горшке прийти на двор
к гадалке.
А белый, белый снег до боли очи ест.

* * *

С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык,
Фыркает, гребли не любит – женолюб,
Ноша хребту непривычна, и труд велик.

Изредка выскочит дельфина колесо
Да повстречается морской колючий еж.
Нежные руки Европы, берите всё!
Где ты для выи желанней ярмо найдешь?

Горько внимает Европа могучий плеск,

Тучное море кругом закипает в ключ,
Видно, страшит ее вод маслянистый блеск
И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.

О, сколько раз ей милее уключин скрип,
Лоном широкая палуба, гурт овец
И за высокой кормою мельканье рыб!
С нею безвёсельный дальше плывет гребец.

* * *

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг —
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает;
Понемногу тает звук;
Всё чего-то не хватает,
Что-то вспомнить недосуг.

А ведь раньше лучше было,
И, пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.

Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.

* * *

Как растет хлебов опара,
Поначалу хороша,
И беснуется от жару
Домовитая душа.

Словно хлебные Софии
С херувимского стола
Круглым жаром налитые
Подымают купола.

Чтобы силой или лаской
Чудный выманить припек,
Время – царственный подпасок —
Ловит слово-колобок.

И свое находит место
Черствый пасынок веков —
Усыхающий довесок
Прежде вынутых хлебов.

* * *

Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась —
Не по ней ли шуршит вор,
Комариный звенит князь?

Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь – разбудить.

Раскидать бы за стогом стог —
Шапку воздуха, что томит;
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит.

Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная, нашлась
Через век, сеновал, сон.

* * *

Я по лесенке приставной
Лез на включенный сеновал, —
Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.

И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?

Звезд в ковше Медведицы семь.
Добрых чувств на земле пять.
Набухает, звенит темь,
И растет, и звенит опять.

Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит.
Сеновала древний хаос
Защекочет, запорошит...

Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем,
Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.

Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад —
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.

Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна – скрепясь,
А другая – в заумный сон.

* * *

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.

И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.

Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда.

И, с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл,
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.

Московский дождик

Он подает куда как скупю
Свой воробьиный холодок —
Немного нам, немного купам,
Немного вишням на лоток.

И в темноте растет кипенье —
Чайнок легкая возня, —
Как бы воздушный муравейник

Пирует в темных зеленях;

И свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве, —
Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве!

Век

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка
Век младенческий земли.
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей
И горячей рыбой мечет
В берег теплый хрящ морей.
И с высокой сетки птичьей,

От лазурных влажных глыб
Льется, льется безразличье
На смертельный твой ушиб.

Нашедший подкову

Глядим на лес и говорим:
Вот лес корабельный, мачтовый,
Розовые сосны,
До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,
Им бы поскрипывать в бурю,
Одинокими пиниями,
В разъяренном безлесном воздухе.
Под соленою пятою ветра устоит отвес, пригнанный
к пляшущей палубе,
И мореплавателю,
В необузданной жажде пространства,
Влача через влажные рытвины хрупкий прибор
геометра,
Сличит с притяженьем земного лона
Шероховатую поверхность морей.

А вдыхая запах
Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку
корабля,
Любуясь на доски,
Заклепанные, слаженные в переборки
Не вифлеемским мирным плотником, а другим —
Отцом путешествий, другом морехода, —
Говорим:
И они стояли на земле,
Неудобной, как хребет осла,
Забывая верхушками о корнях,
На знаменитом горном кряже,
И шумели под пресным ливнем,
Безуспешно предлагая небу выменять на щепотку
соли
Свой благородный груз.

С чего начать?
Всё трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой,
И легкие двуколки
В броской упряжи густых от натуги птичьих стай
Разрываются на части,
Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.

Трижды блажен, кто введет в песнь имя;

Украшенная названьем песнь
Дольше живет среди других —
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
Исцеляющей от беспамятства, слишком сильного
одуряющего запаха,
Будь то близость мужчины,
Или запах шерсти сильного зверя,
Или просто дух чобра, растертого между ладоней.

Воздух бывает темным, как вода, и всё живое
в нем плавает как рыба.
Плавниками расталкивая сферу,
Плотную, упругую, чуть нагретую, —
Хрусталь, в котором движутся колеса
и шарахаются лошади,
Влажный чернозем Нееры, каждую ночь
распаханный заново
Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами.
Воздух замешен так же густо, как земля:
Из него нельзя выйти, в него трудно войти.

Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой.
Дети играют в бабки позвонками умерших
животных.

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит
к концу.

Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.
Эра звенела, как шар золотой,
Полая, литая, никем не поддерживаемая,
На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет».
Так ребенок отвечает:
«Я дам тебе яблоко» или «Я не дам тебе яблока»,
И лицо его точный слепок с голоса, который
произносит эти слова.

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге
с разбросанными ногами —

Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены,
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром
иноходца.

Так
Нашедший подкову
Сдувает с нее пыль
И растирает ее шерстью, пока она не заблестит.
Тогда

Он вешает ее на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придется высекать искры
из кремня.
Человеческие губы, которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остается ощущение тяжести,
Хотя кувшин наполовину расплескался, пока
его несли домой.

То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой
пшеницы.

Одни
на монетах изображают льва,
Другие —
голову.
Разнообразные медные, золотые и бронзовые
лепешки
С одинаковой почестью лежат в земле.
Век, пробуя их перегрызть, отгиснул на них свои
зубы.

Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого.

Сыновья Аймона (по старофранцузскому эпосу)

Пришли четыре брата, несхожие лицом,
В большой дворец-скворешник с высоким
потолком.
Так сухи и поджары, что ворон им каркнет
«брысь».

От удивленья брови у дамы поднялись.
«Вы, господа бароны, рыцари-друзья,
Из кающейся братьи, предполагаю я.
Возьмите что хотите из наших кладовых —
Из мяса или рыбы иль платьев шерстяных.
На радостях устрою для вас большой прием:
Мы милостыню Богу, не людям подаем.
Да хранит Он детей моих от капканов и ям,
В феврале будет десять лет, как я томлюсь
по сыновьям!»
— «Как это могло случиться?» — сказал Ричард
с крутым лбом.
— «Я сама не знаю, сударь, как я затмилась
умом.
Я отправила их в Париж, где льется вежливая
молвь.
Им обрадовался Карл, почуя рыцарскую кровь.

Королевский племянник сам по себе хорош,
Но бледнеет от злости, когда хвалят молодежь.
Должно быть, просто зависть к нему закралась
в грудь,

Затеял с ними в шахматы нечистую игру.
Они погорячились, и беда стряслась:
Учили его, учили, пока не умер князь.
Потом коней пришпорили и скрылись
в зеленях,

И с ними семьсот рыцарей, что толпились
в сенях.

Спаслись через Меузу в Арденнской земле,
Выстроили замок укрепленный на скале.
На все четыре стороны их выгнал из Франции
Карл,

Аймон от них отрекся, сам себя обкорнал.
Он присягнул так твердо, как алмаз режет
стекло,

Что у него останется одно ремесло:
Пока дням его жизни Господь позволит течь,
Четырем негодьям головы отсечь».
Когда Рено услышал, он вздрогнул и поник,
Княгиня прикусила свой розовый язык,
И вся в лицо ей бросилась, как муравейник,
кровь.

Княгиня слышит крови старинный переплеск,
Лицо Рено меняется, как растопленный воск,
Тавро, что им получено в потешный турнир,
Ребьяческая метка от молодых рапир.
У матери от радости в боку колотье:
«Ты – Рено, если не обманывает меня чутье,
Заклинаю тебя Искупителем по числу
гвоздильных ран,
Если ты – Рено, не скрывай от меня иль
продлить дай обман».

Когда Рено услышал, он стал совсем горбат,
Княгиня его узнала от головы до пят,
Узнала его голос, как пенье соловья,
И остальные трое с ним – тоже сыновья.
Ждут – словно три березки чтоб ветер
поднялся.

Она заговорила, забормотала вся:
«Дети, вы обнищали, до рубища дошли,
Вряд ли есть у вас слуги, чтоб вам помогли».
– «У нас четыре друга, горячие в делах,
Все в яблоках железных, на четырех ногах».
Княгиня понимает по своему чутью
И зовет к себе конюха, мальчика Илью.
«Там стреножена лошадь Рено и три других,
Поставьте их в конюшнях светлых и больших
И дайте им отборных овсов золотых».
Илья почуял лошадь, кубарем летит,

Мигом срезал лестницы зеленый малахит.
Не жалеет горла, как в трубле Роланд,
И кричит баронам маленький горлан:
«Делать вам тут нечего, бароны, вчетвером,
Для ваших лошадей у нас найдется корм».
Как ласковая лайка на слепых щенят,
Глядит княгиня Айя на четырех княжат.
Хрустит душистый рябчик и голубиный хрящ,
Рвут крылышки на части так, что трещит
в ушах;
Пьют мед дремучих пасек, и яблочный кларет,
И темное густое вино, ублюдоч старых лет.
Тем временем Аймона надвинулась гроза,
И стянутых ремнями борзых ведут назад,
Прокушенных оленей на кухню снесли
И слезящихся лосей в крови и пыли.
Гремя дубовой палкой, Аймон вернулся в дом
И видит у себя своих детей за столом.
Плоть нищих золотится, как золото святых,
Бог выдубил их кожу и в мир пустил нагих.
Каленые орехи не так смуглы на вид,
Сукно, как паутина, на плечах у них висит —
Где родинка, где пятнышко – мережит
и сквозит.

Грифельная ода

*Мы только с голоса пойдем,
Что там царапалось, боролось...*

Звезда с звездой – могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень,
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок —
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.

Мы стоя спим в густой ночи
Под теплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.

Крутые козьи города,
Кремней могучее слоенье,

И все-таки еще гряда —
Овечьи церкви и селенья!
Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время —
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.

Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором,
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!

Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует:
И в бабки нежная игра,
И в полдень злых овчарок шубы;
Как мусор с ледяных высот —
Изнанка образов зеленых —
Вода голодная течет,
Крутясь, играя, как звереныш.

И как паук ползет ко мне —
Где каждый стык луной обрызган.
На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Ломаю ночь, горящий мел
Для твердой записи мгновенной,
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик —
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной!
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве!

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая встык —
Кремень с водой, с подковой перстень.

* * *

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни – голуби, дома – как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.
Здесь толпы детские – событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки —
Клевали наскоро крупу свинцовых крох,
Фригийской бабушкой рассыпанный горох...
И в воздухе плывет забытая коринка,
И в памяти живет плетеная корзинка,
И тесные дома – зубов молочных ряд
На деснах старческих – как близнецы стоят.

Здесь клички месяцам давали, как котят,
А молоко и кровь давали нежным львьятам,
А подрастут они – то разве года два
Держалась на плечах большая голова!
Большеголовые – там руки поднимали
И клятвой на песке как яблоком играли.
Мне трудно говорить: не видел ничего,
Но все-таки скажу: я помню одного;
Он лапу поднимал, как огненную розу,
И, как ребенок, всем показывал занозу,
Его не слушали: смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора,
Афиши клеили, и ставили капканы,
И пели песенки, и жарили каштаны,
И светлой улицей, как просекой прямой,
Летели лошади из зелени густой!

* * *

Как тельце маленькое крылышком
По солнцу всклянь перевернулось,
И зажигательное стеклышко
На эмпиреи загорелось.

Как комариная безделица
В зените ныла и звенела,
И под сурдинку пеньем жужелиц
В лазури мучилась заноза:

«Не забывай меня: казни меня,
Но дай мне имя, дай мне имя:
Мне будет легче с ним, пойми меня,
В беременной глубокой сини!»

1 января 1924

Кто время целовал в измученное тема —
С сыновней нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось
время

В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших, —
Он слышит вечно шум, когда взревели реки
Времен обманных и глухих.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного – оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

О глиняная жизнь! О умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.
Какая боль – искать потерянное слово,
Больные веки поднимать,
И с известью в крови, для племени чужого
Ночные травы собирать.

Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина...
Снег пахнет яблоком, как встарь.
Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

По переулочкам, скворешням и застрехам,
Недалеко, собравшись как-нибудь, —
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Всё силюсь полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозный звук,
Не поддается петелька тугая,
Всё время валится из рук.

Каким железным, скобяным товаром

Ночь зимняя гремит по улицам Москвы,
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых, как серебром плотвы.
Москва – опять Москва. Я говорю ей:
«Здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,
По старине я уважаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда».

Пылает на снегу аптечная малина,
И где-то щелкнул ундервуд;
Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
Зима-красавица, и в звездах небо козье
Рассыпалось и молоком горит,
И конским волосом о мерзлые полозья
Вся полость трется и звенит.

А переулочки коптели керосинкой,
Глотали снег, малину, лед.
Всё шелушится им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —
И щучью косточку найдешь;
И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех...
Но пишущих машин простая сонатина —
Лишь тень сонат могучих тех.

* * *

Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник —
То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших,

И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,
И странно вытянулось глиняное тело —
Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового
Какая легкая кровать!
Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает, а потом —
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем!

* * *

Вы, с квадратными окошками, невысокие дома,
Здравствуй, здравствуй, петербургская
несуровая зима!

И торчат, как шуки ребрами, незамерзшие
катки,
И еще в прихожих слепеньких валяются
коньки.

А давно ли по каналу плыл с красным обжигом
гончар,
Продавал с гранитной лесенки добросовестный
товар!

Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора,
И сама собой сдирается с мандаринов кожура.

И в мешочке кофий жареный, прямо с холоду
домой:
Электрическою мельницей смолот мокко
золотой.

Шоколадные, кирпичные, невысокие дома,
Здравствуй, здравствуй, петербургская
несуровая зима!

И приемные с роялями, где, по креслам
рассадив,
Доктора кого-то потчуют ворохами старых
«Нив».

После бани, после оперы – все равно, куда
ни шло, —
Бестолковое, последнее трамвайное тепло!

* * *

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка.
Гляжу – изба, вошел в сенцы:
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка...

У изголовья вновь и вновь
Цыганка вскидывает бровь,
И разговор ее был жалок;
Она сидела до зари
И говорила: «Подари
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок».

Того, что было, не вернешь,
Дубовый стол, в солонке нож,
И вместо хлеба – еж брюхатый;
Хотели петь – и не смогли,
Хотели встать – дугой пошли
Через окно на двор горбатый.

И вот проходит полчаса,
И гарнцы черного овса
Жуют, похрустывая, кони;
Скрипят ворота на заре,
И запрягают на дворе;
Теплеют медленно ладони.

Холщовый сумрак поредел.
С водою разведенный мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно
И золотушный грач мелькает.

* * *

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной
кажете,
За капором снега, за вечным, за мельничным

Ты розу Гафиза колышешь
И нянчишь зверушек-детей,
Плечьми осьмигранными дышишь
Мужицких бычачьих церквей.

Окрашена охрою хриплой,
Ты вся далеко за горой,
А здесь лишь картинка налипла
Из чайного блюдца с водой.

2

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось – лишь сурик
да хриплая охра.

И почему-то мне начало утро армянское сниться,
Думал – возьму посмотрю, как живет в Эривани
синица,

Как нагибается булочник, с хлебом играющий
в жмурки,
Из очага вынимает лавашные влажные шкурки...

Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

Ах, Эривань, Эривань! Не город – орешек каленый,
Улиц твоих большепотых кривые люблю вавилоны.

Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран,
замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.

Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда!

3

Ты красок себе пожелала —
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров

Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы – кузнечные клещи
И каждое слово – скоба...

4

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Всё утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.

И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых Востока —
И вот лежишь на москательном ложе,
И с тебя снимают посмертную маску.

5

Руку платком обмотай и в венценосный
шиповник,
В самую гущу его целлулоидных терний,
Смело, до хруста, ее погрузи...
Добудем розу без ножниц!
Но смотри, чтобы он не осыпался сразу —
Розовый мусор – муслин – лепесток
соломоновый —
И для шербета негодный дичок,
Не дающий ни масла, ни запаха.

6

Орущих камней государство —
Армения, Армения!

Хриплые горы к оружию зовущая —
Армения, Армения!
К трубам серебряным Азии вечно летящая —
Армения, Армения!
Солнца персидские деньги щедро
раздаривающая —
Армения, Армения!

7

Не развалины – нет! – но порубка могучего
циркульного леса,
Якорные пни поваленных дубов звериного
и басенного христианства,
Рулоны каменного сукна на капителях – как товар
из языческой разграбленной лавки,
Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих
рогов
И нахохленные орлы с совиными крыльями, еще
не оскверненные Византией.

8

Холодно розе в снегу:
на Севане снег в три аршина...
Вытащил горный рыбак расписные лазурные
сани,
Сытых форелей усатые морды
несут полицейскую службу
на известковом дне.

А в Эривани и в Эчмиадзине
весь воздух вышила огромная гора,
Ее бы приманить какой-то окариной
Иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту.

Снега, снега, снега на рисовой бумаге,
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад...

9

Какая роскошь в нищенском селеньи
Волосная музыка воды!
Что это? Пряжа? Звук? Предупрежденье?
Чур-чур меня! Далёко ль до беды!

Звезды живут – канцелярские птички, —
Пишут и пишут свои рапортчики.

Сколько бы им ни хотелось мигать,
Могут они заявленье подать —
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешенье.

* * *

Не говори никому,
Всё, что ты видел, забудь —
Птицу, старуху, тюрьму
Или еще что-нибудь...

Или охватит тебя,
Только уста разомкнешь,
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь.

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу,
Что никогда не собирал.

* * *

Колючая речь Араратской долины,
Дикая кошка – армянская речь,
Хищный язык городов глинобитных,
Речь голодающих кирпичей.

А близорукое шахское небо —
Слепорожденная бирюза —
Всё не прочтет пустотелую книгу
Черной кровью запекшихся глин.

* * *

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Твое пограничное ухо —
Все звуки ему хороши,

Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши!

* * *

Дикая кошка – армянская речь
Мучит меня и царапает ухо.
Хоть на постели горбатой прилечь —
О, лихорадка, о, злая моруха!

Падают вниз с потолка светляки,
Ползают мухи по липкой простыне,
И маршируют повзводно полки
Птиц голенастых по желтой равнине.

Страшен чиновник – лицо как тюфяк,
Нету его ни жалчей, ни нелепей.
Командированный – мать твою так! —
Без подорожной в армянские степи.

Пропадом ты пропади, говорят,
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху ни духу,
Старый повытчик, награвив деньжат,
Бывший гвардеец, замыв оплеуху.

Грянет ли в двери знакомое: «Ба!
Ты ли, дружище?» Какая издевка!
Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..

Были мы люди, а стали людье,
И суждено – по какому разряду? —
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.

* * *

И по-звериному воеет людье,
И по-людски куролесит зверье...
Чудный чиновник без подорожной,
Командированный к тачке острожной, —
Он Черномора пригубил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму.

* * *

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда – так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

* * *

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин.

Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери —
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

* * *

Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь – за твою рабу...
В Петербурге жить – словно спать в гробу.

* * *

С миром державным я был лишь ребячески
связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел

исподлобья —

И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобию.

С важностью глупой, насупившись, в митре
бобровой

Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Чуя грядущие казни, от рева событий
мятежных

Я убежал к nereидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних, от тех европейнок
нежных,

Сколько я принял смущенья, насады и горя!

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее,
Самолюбивый, проклятый, пустой, молодежавый.

Не потому ль, что я видел на детской картинке
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива...

* * *

После полуночи сердце ворует
Прямо из рук запрещенную тишь.
Тихо живет – хорошо озорует,
Любишь – не любишь – ни с чем
не сравнишь...

Любишь – не любишь, поймешь —
не поймашь...

Не потому ль, как подкидыш, дрожишь,
Что пополуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь?

* * *

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну а мне – соленой пеной
По губам.

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли,
Всё равно.
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино!

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.

* * *

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет, и будет – гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно – и все-таки до смерти хочется жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся
звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

* * *

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наворачивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
Затверженную вхруст,
Одну сонату вечную

После меня хоть потоп.
Что же потом? Хрип горожан
И толкотня в гардероб.

Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:
Шапку в рукав, шапкой в рукав —
И да хранит тебя Бог!

* * *

Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину Москвы.
Я – трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.

Мы с тобою поедem на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.

И едва успевает, грозит из угла —
«Ты как хочешь, а я не рискну!» —
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объехать всю курву-Москву.

Неправда

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
– Дай-ка я на тебя погляжу —
Ведь лежать мне в сосновом гробу.

А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.

– Захочу, – говорит, – дам еще...
Ну а я не дышу, сам не рад...
Шасть к порогу – куда там... В плечо
Уцепилась и тащит назад.

Вошь да глушь у нее, тишь да мша,
Полуспаленка, полутюрьма.
– Ничего, хороша, хороша...
Я и сам ведь такой же, кума.

* * *

Я пью за военные астры, за всё, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского
дня,
За музыку сосен савойских, Полей Елисейских
бензин,
За розу в кабине рольс-ройса и масло парижских
картин.

Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских
кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний
хинин.
Я пью, но еще не придумал – из двух выбираю
одно —
Веселое асти-спуманте иль папского замка вино.

Рояль

Как парламент, жующий фронду,
Вяло дышит огромный зал,
Не идет Гора на Жиронду
И не крепнет сословий вал.

Оскорбленный и оскорбитель,
Не звучит рояль-Голиаф,
Звуколюбец, душемутитель,
Мирабо фортепьянных прав.

– Разве руки мои – кувалды?
Десять пальцев – мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих – конек-горбунок.

Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой,
Не втирайте в клавиши корень
Сладковатой груши земной.

Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков,
Нюрнбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

* * *

– Нет, не мигрень, но подай карандашик
ментоловый, —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства
веселого!

Жизнь начиналась в корыте картовою мокрою
шёпотью,
И продолжалась она керосиновой мягкой
копотью.

Где-то на даче потом в лесном переплете
шагреновом
Вдруг разгорелась она почему-то огромным
пожаром сиреневым...

– Нет, не мигрень, но подай карандашик
ментоловый, —
Ни поволоки искусства, ни красок пространства
веселого!

Дальше, сквозь стекла цветные, сощурясь,
мучительно вижу я:
Небо как палица грозное, земля словно
плешина рыжая...

Дальше – еще не припомню – и дальше как
будто оборвано:
Пахнет немного смолою да, кажется, тухлою
ворваньёю...

– Нет, не мигрень, – но холод пространства
бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот гитары
карболовой!

* * *

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья
и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь
труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть
черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семья
плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой
грубый,
Я – непризнанный брат, отщепенец в народной

семье —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи —
Как, прицелясь насмерть, городки зашибают
в саду, —
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду.

Канцона

Неужели я увижу завтра —
Слева сердце бьется – слава, бейся! —
Вас, банкиры горного ландшафта,
Вас, держатели могучих акций гнейса?

Там зрачок профессорский орлиный, —
Египтологи и нумизматы —
Это птицы сумрачно-хохлатые
С жестким мясом и широкою грудиной.

То Зевес подкручивает с толком
Золотыми пальцами краснодеревца
Замечательные луковицы-стекла —
Прозорливцу дар от псалмопевца.

Он глядит в бинокль прекрасный Цейса —
Дорогой подарок царь-Давида,
Замечает все морщины гнейсовые,
Где сосна иль деревушка-гнида.

Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку,
Я скажу «села» начальнику евреев
За его малиновую ласку.

Край небритых гор еще неясен,
Мелколесья колетса щетина,
И свежа, как вымытая басня,
До оскомины зеленая долина.

Я люблю военные бинокли
С ростовщической силой зренья.
Две лишь краски в мире не поблекли:
В желтой – зависть, в красной —
нетерпенье.

* * *

И до чего им нужен кислород!

Пора вам знать: я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
 Попробуйте меня от века оторвать,
 Ручаюсь вам – себе свернете шею!

Я говорю с эпохой, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме:
Почешется – и в цинковую ванну, —
Изобрази еще нам, Марь Иванна!
 Пусть это оскорбительно – поймите:
 Есть блуд труда, и он у нас в крови.

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом.
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чает —
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И, словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской,
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
 Как майские студенты-шелапуты...

Отрывки уничтоженных стихов

1

В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет – читай: насильно
Был возвращен в буддийскую Москву.
А перед тем я все-таки увидел
Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.

Захочешь пить – там есть вода такая
Из курдского источника Арзни,
Хорошая, колючая, сухая
И самая правдивая вода.

2

Уж я люблю московские законы,

Уж не скучаю по воде Арзни.
В Москве черемухи да телефоны,
И казнями там имениты дни.

3

Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой
На молоко с буддийской синевой,
Проводишь взглядом барабан турецкий,
Когда обратно он на красных дрогах
Несется вскачь с гражданских похорон,
Иль встретишь воз с поклажей из подушек
И скажешь: гуси-лебеди, домой!

Не разбирайся, щелкай, милый кодак,
Покуда глаз – хрусталик кравчей птицы,
А не стекляшка!

Больше светотени!
Еще, еще! Сетчатка голодна!

4

Я больше не ребенок!
Ты, могила,
Не смей учить горбатого – молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб небо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.

* * *

Еще далёко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь, —
Но в глубине ничуть не изменяюсь...

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской.

Я, как щенок, кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок.
В нем слышно польское: «Дзенькуе, пани!»,
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.

Всё думаешь: к чему бы приохотиться
Посреди хлопушек и шутих;
Перекипишь – а там, гляди, останется
Одна сумятица да безработица —
Пожалуйста, прикуривай у них!

То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белорукой тростью выхожу:
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях,
И не живу, и все-таки живу.

Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду,
И в пять минут – лопаткой из ведерка —
Я получу свое изображение
Под конусом лиловой шах-горы.

А иногда пушусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Янцзы.

Люблю разъезды скворчущих трамваев,
И астраханскую икру асфальта,
Накрытого соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовые перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кашеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи;
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь —
За тысячу крикливых попугаев.

И до чего хочу я разыграться —
Разговориться – выговорить правду —
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, —
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, —
Сказать ему, – нам по пути с тобой...

* * *

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.

Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.

Не волноваться. Нетерпенье – роскошь.
Я постепенно скорость разовью —
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

* * *

На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пиروвали —
Было страшно, как во сне.

Нам попался фэзтонщик,
Пропеченный, как изюм, —
Словно дьявола поденщик,
Односложен и угрюм.

То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо» —
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо.

Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.

И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы —
Закружились фэтоны,
Постоялые двory...

Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми!

Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб вертелась каруселью
Кисло-сладкая земля...

Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше,
Я изведаль эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

* * *

Как народная громада,
Прошибая землю в пот,
Многоярусное стадо
Пропыленную армадой
Ровно в голову плывет:

Телки с нежными боками
И бычки-баловники,
А за ними – кораблями —
Буйволицы с буйволами
И священники-быки.

* * *

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника-Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса...
А в недорослях кто? Иван Великий —

Великовозрастная колокольня.
Стоит себе еще болван болваном
Который век. Его бы за границу,
Чтоб доучился... Да куда там! стыдно!
Река Москва в четырехтрубном дыме,
И перед нами весь раскрытый город —
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль Москвы слышали? Гули-гули!..

Мне кажется, как всякое другое,
Ты, время, незаконно! Как мальчишка
За взрослыми в морщинистую воду,
Я, кажется, в грядущее вхожу,
И, кажется, его я не увижу...

Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы,
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскачу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду...

Мне с каждым днем дышать всё тяжелее,
А между тем нельзя повременить...
И рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня.
И Фауста бес, сухой и моложавый,
Вновь старику кидается в ребро
И подбивает взять почасно ялик,
Или махнуть на Воробьевы горы,
Иль на трамвае охлестнуть Москву.

Ей некогда – она сегодня в няньках,
Всё мечется – на сорок тысяч люлек
Она одна – и пряжа на руках...
Какое лето! Молодых рабочих
Татарские сверкающие спины
С девической полоской на хребтах,
Таинственные узкие лопатки
И детские ключицы...

Здравствуй, здравствуй,
Могучий некрещеный позвоночник,
С которым проживем не век, не два!..

Ламарк

Был старик, застенчивый, как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну конечно, пламенный Ламарк.

Если всё живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав среди ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

* * *

Когда в далекую Корею
Катился русский золотой,
Я убегал в оранжерею,
Держа ириску за щекой.

Была пора смешливой бульбы
И щитовидной железы,

Была пора Тараса Бульбы
И наступающей грозы.

Самоуправство, своеволие,
Поход троянского коня,
А над пленницей посольство
Эфира, солнца и огня.

Был от поленьев воздух жирен,
Как гусеница на дворе,
И Петропавловску-Цусиме —
«Ура» на дровяной горе...

К царевичу младому Хлору —
И – Господи, благослови! —
Как мы в высоких голенищах
За хлороформом в гору шли.

Я пережил того подростка,
И широка моя стезя,
Другие сны, другие гнезда,
Но не разбойничать нельзя.

* * *

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюда
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.

Линяет зверь, играет рыба
В глубоком обмороке вод —
И не глядеть бы на изгибы
Людских страстей, людских забот.

* * *

Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Еще разматывать должны
Кусок сукна зеленый,
И всех других опередит
Тот самый, тот, который

Из песни Данта убежит,
Ведя по кругу споры.

* * *

Увы, растаяла свеча
Молодчиков каленых,
Что хаживали вполплеча
В камзольчиках зеленых,
Что пересиливали срам
И чумную заразу
И всевозможным господам
Прислуживали сразу.

И нет рассказчика для жен
В порочных длинных платьях,
Что проводили дни, как сон,
В пленительных занятиях:
Лепили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк,
Пускали негодяев.

Импрессионизм

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Он понял масла густоту;
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.

А тень-то, тень – всё лиловей!
Свисток иль хлыст как спичка тухнет.
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель.

* * *

С.А. Клычкову

Там, где купальни-бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На Москве-реке есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.

Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы,

У реки Оки вывернуто веко,
Оттого-то и на Москве ветерок.
У сестрицы Клязьмы загнулась ресница,
Оттого на Яузе утка плывет.

На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров,
Вода на булавках, и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.

Батюшков

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
Ни у кого – этих звуков изгибы...
И никогда – этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...

Стихи о русской поэзии

I

Сядь, Державин, развалился,
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис.

Дай Языкову бутылку
И подвинь ему бокал.
Я люблю его ухмылку,
Хмеля бьющуюся жилку
И стихов его накал.

Гром живет своим накатом —
Что ему до наших бед? —
И глотками по раскатам
Наслаждается мускатом
На язык, на вкус, на цвет.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой,
Пахнет городом, потопом,
Нет – жасмином, нет – укропом,
Нет – дубовою корой!

II

Зашумела, задрожала,
Как смоковницы листва,
До корней затрепетала
С подмосковными Москва.

Катит гром свою тележку
По торговой мостовой
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.

И угодливо-поката
Кажется земля – пока,
Шум на шум, как брат на брата,
Восстает издалека.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой
С рабским потом, конским топом
И древесною молвой.

III

С.А. Клычкову

Полюбил я лес прекрасный,
Смешанный, где козырь – дуб,
В листьях клена – перец красный,
В иглах – еж-черноголуб.

Там фисташковые молкнут
Голоса на молоке,
И когда захочешь щелкнуть,
Правды нет на языке.

Там живет народец мелкий,
В желудевых шапках все,
И белок кровавый белки
Крутят в страшном колесе.

Там щавель, там вымя птичье,
Хвой павлинья кутерьма,
Ротозейство и величье
И скорлупчатая тьма.

Тычут шпагами шишиги,
В треуголках носачи,
На углях читают книги
С самоваром палачи.

И еще грибы-волнушки
В сбруе тонкого дождя
Вдруг поднимутся с опушки
Так – немного погода...

Там без выгоды уроды
Режутся в девятый вал,
Храп коня и крап колоды,
Кто кого? Пошел развал...

И деревья – брат на брата —
Восстают. Понять спешу:
До чего аляповаты,
До чего как хороши!

* * *

Дайте Тютчеву стрекóзу —
Догадайтесь, почему.
Веневитинову – розу,
Ну а перстень – никому.

Баратынского подошвы
Раздражают прах веков.
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов – мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

К немецкой речи

Б.С. Кузину

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За всё, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьезности и чести
На Западе у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера:
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера.

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гёте не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами шелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи?

И прямо со страницы альманаха,

От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб – ступеньками, без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык – он мне не нужен.

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился. Слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

Ариост

Во всей Италии приятнейший, умнейший,
Любезный Ариост немножечко охрип.
Он наслаждается перечисленьем рыб
И перчит все моря нелепицею злейшей.

И, словно музыкант на десяти цимбалах,
Не уставая рвать повествованья нить,
Ведет – туда-сюда, не зная сам, как быть, —
Запутанный рассказ о рыцарских скандалах.

На языке цикад – пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Он завирается, с Орландом куролеся,
И содрогается, преображаясь весь.

И морю говорит: шуми без всяких дум,
И деве на скале: лежи без покрывала...
Рассказывай еще – тебя нам слишком мало.
Покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум.

О город ящериц, в котором нет души —
Когда бы чаще ты таких мужей рожала,
Феррара черствая! Который раз сначала,
Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши!

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
А он вельможится всё лучше, всё хитрее
И улыбается в крылатое окно —

Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснувшему дитяти.

А я люблю его неистовый досуг,
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.

Любезный Ариост, быть может, век пройдет —
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше Черноморье.
...И мы бывали там. И мы там пили мед...

* * *

Не искушай чужих наречий, но постарайся их
забыть:
Ведь всё равно ты не сумеешь стекла зубами укусить!

О, как мучительно дается чужого клекота почет:
За беззаконные восторги лихая плата стережет!

Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот
В последний раз перед разлукой чужое имя
не спасет.

Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас,
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных
глаз?

И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб,
Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.

* * *

Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг —
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг!

* * *

Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым,

Как был при Врангеле – такой же виноватый.
Комочки на земле. На рубищах заплаты.
Всё тот же кисленький, кусающийся дым.

Всё так же хороша рассеянная даль.
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины и Кубани...
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

* * *

Квартира тиха, как бумага,
Пустая, без всяких затей,
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей,

Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель
Такую ухлопает моль.

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать —
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

* * *

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, дарит за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому
в глаз.

Что ни казнь у него – то малина,
И широкая грудь осетина.

Восьмистишия

I

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то – четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.

И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,

Играет пространство спросонок —
Не знавшее люльки дитя.

2

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то – четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.

И так хорошо мне и тяжело,
Когда приближается миг,
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

3

О, бабочка, о, мусульманка,
В разрезанном саване вся —
Жизняночка и умираючка,
Такая большая – сия!

С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О флагом развернутый саван,
Сложи свои крылья – боюсь!

4

Шестого чувства крошечный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.

Недостижимое, как это близко:
Ни развязать нельзя, ни посмотреть,
Как будто в руку вложена записка —
И на нее немедленно ответь...

5

Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон:
В земной коре юродствуют породы

И, как руда, из груди рвется стон.

И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог, —
Понять пространства внутренний избыток,
И лепестка, и купола залог.

6

Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме,

И он лишь на собственной тяге,
Зажмурившись, держится сам,
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.

7

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.

Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружились листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

8

И клена зубчатая лапа
Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.

Бывают мечети живые —
И я догадался сейчас:
Быть может, мы – Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.

9

Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветер?

– Меня не касается трепет
Его иудейских забот —
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.

10

В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.

И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит —
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.

11

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосогласье причин.

И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей —
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.

* * *

Как из одной высокогорной щели
Течет вода – на вкус разноречива —
Полужестка, полусладка, двулична, —

Так, чтобы умереть на самом деле,
Тысячу раз на дню лишусь обычной
Свободы вздоха и сознанья цели...

Из Петрарки

I

Valle che de' lamenti miei se' piena...

Petrarca¹

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых;

Дол, полный клятв и шепотов каленых,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах:

Незыблемое зыблется на месте,
И зыблюсь я... Как бы внутри гранита
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,

Где я ищу следов красы и чести,
Исчезнувшей, как сокол после мыта,
Оставив тело в земляной постели.

II

Quel rosignuol, che si soave piagne...

Petrarca²

Как соловей, сиротствующий, славит
Своих пернатых близких, ночью синей,
И деревенское молчанье плавит
По-над холмами или в котловине,

И всю-то ночь щекочет и муравит
И провожает он, один отныне, —
Меня, меня! Силки и сети ставит
И нудит помнить смертный пот богини!

О, радужная оболочка страха! —
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Взяла земля в слепую люльку праха —

¹ Долина, что жалобами моими полна... Петрарка (*итал.*). — Ред .

² Тот соловей, что так нежно оплакивает... Петрарка (*итал.*). — Ред .

Исполнилось твое желанье, пряжа,
И, плачучи, твержу: вся прелесть мира
Ресничного недолговечней взмаха.

III

Or che 'l ciel et la terra e 'l vento tace...

Petrarca³

Когда уснет земля и жар отпышет,
И на душе зверей покой лебяжий,
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей
И мощь воды морской зефир колышет, —

Чую, горю, рвусь, плачу – и не слышит,
В неудержимой близости всё та же:
Целую ночь, целую ночь на страже
И вся как есть далеким счастьем дышит.

Хоть ключ один – вода разноречива:
Полужесточка, полусладка. Ужели
Одна и та же милая двулична?

Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле,
И воскресаю так же сверхобычно.

IV

I di miei più leggier' che nessun cervo...

Petrarca⁴

Промчались дни мои – как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.

По милости надменных обольщений
Ночует сердце в склепе скромной ночи,
К земле бескостной жметя. Средоточий
Знакомых ищет, сладостных сплетений.

³ Когда небо, и земля, и ветер умолкают... Петрарка (*итал.*). – *Ред.*

⁴ Дни мои легче любого оленя... Петрарка (*итал.*). – *Ред.*

Но то, что в ней едва существовало, —
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря, —
Как хороша – к какой толпе пристала —
Как там клубится легких складок буря...

* * *

Голубые глаза и горячая лобная кость —
Мировая манила тебя молодящая злость.

И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.

На тебя надевали тиару – юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель,
дурак!

Как снежок, на Москве заводил кавардак
гоголек, —
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легóк...

Собиратель пространства, экзамены сдавший
птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент,
бубенец.

Конькобежец и первенец, веком гонимый
взашей
Под морозную пыль образуемых вновь
падежей.

Часто пишется – казнь, а читается
правильно – песнь.
Может быть, простота – уязвимая смертью
болезнь?

Прямизна нашей мысли не только пугач
для детей?
Не бумажные дести, а вести спасают людей.

Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.

На коленях держали для славных потомков
листы,
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.

Меж тобой и страной ледяная рождается
связь —
Так лежи, молодежь и лежи, бесконечно
прямясь.

Да не спросят тебя молодые, грядущие – те,
Каково тебе там – в пустоте,
в чистоте-сироте...

Утро 10 января 1934 года

I

Меня преследуют две-три случайных фразы, —
Весь день твержу: печаль моя жирна.
О боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна...

Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей,

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,
Когда скользит, исполненный отваги,
С голуботвердой чокаясь рекой?

Он дирижировал кавказскими горами
И, машучи, ступал на тесных Альп тропы
И, озираючись, пустынными брегами
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.

Толпы умов, влияний, впечатлений
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль гляделась в зеркало явлений,
А Лия пела и плела венки.

II

Когда душе столь торопкой, столь робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой —
Но смерти ей тропина не ясна.

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка

Иль звука-первенца в блистательном собрании,
Что льется внутрь в продольный лес смычка.

И льется вспять, еще лентясь и мерясь,
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна,

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

III

Дышали шуб меха. Плечо к плечу теснилось.
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот.
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.

А посреди толпы стоял гравировальщик,
Готовый перенести на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

Как будто я повис на собственных ресницах,
И созревающий, и тянущийся весь, —
Доколе не сорвусь – разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь.

* * *

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч.
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры. На, возьми,
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми!

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный...
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ...

Не серчай, турчанка дорогая,
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь;
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария, – гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи. Уйди. Еще побудь.

Воронежские тетради (1935 – 1937)

Первая тетрадь

* * *

Я живу на важных огородах.
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далёко убегает гать.

Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.

И богато искривилась половица —
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится —
Только смерть да лавочка близка.

* * *

Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки...

Ну как метро?... Молчи, в себе таи...
Не спрашивай, как набухают почки...
И вы, часов кремлевские бои, —
Язык пространства, сжатого до точки...

* * *

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож...

* * *

Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо – твой Буонаротти...

* * *

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова!
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама.

Чернозем

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор, —
Комочки влажные моей земли и воли...

В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа —
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.

И все-таки земля – проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай, —
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазывает ухо...

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен,
глазаст...
Черноречивое молчание в работе.

* * *

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета —
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

* * *

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:

На Красной площади всего круглей земля,
И скат ее твердеет добровольный,

На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно-раздольный,

Откидываясь вниз – до рисовых полей,
Покуда на земле последний жив невольник.

* * *

I

Как на Каме-реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла —
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Там я плыл по реке с занавеской в окне,

С занавеской в окне, с головою в огне.

А со мною жена – пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

II

Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток.
Полноводная Кама неслась на буюк.

И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.

Стансы

1

Я не хочу среди юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу – и люди хороши.
Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий,
И волжской туче родственный покров,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

2

Проклятый шов, нелепая затея,
Нас разделили. А теперь – пойми:
Я должен жить, дыша и большевея,
И, перед смертью хорошея,
Еще побыть и поиграть с людьми!

3

Подумаешь, как в Чердыни-голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме:
Клевещущих козлов не досмотрел я драки,
Как петушок в прозрачной летней тьме, —
Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки —
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок.
И я в уме.

4

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата
Из дерева, стекла и молока...

5

Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла...

6

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.
Я слышу в Арктике машин советских стук,
Я помню всё: немецких братьев шеи
И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

7

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен...
Как «Слово о полку» струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля – последнее оружие,
Сухая влажность черноземных га!

Было слышно жужжание низкое
Самолетов, сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла...

Измеряй меня, край, перекраивай —
Чуден жар прикрепленной земли!
Захлебнулась винтовка Чапаева —
Помоги, развяжи, раздели!..

* * *

Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых лапчатых материй
Китайчатые платица и блузы.

Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные густеющие прядки.

Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пищут звездоносно и хвостато
Толковые лиловые чернила.

* * *

Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гете манившее лоно —
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона.

* * *

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчуждении и в силе —
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле...

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.

И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки ее хорошея,
И ты раскрывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянясь, русея...

Я тяжкую память твою берегу,
Дичок, медвежонок, Миньона,
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

* * *

На мертвых ресницах Исаакий замерз,
И барские улицы сини —
Шарманщика смерть, и медведицы ворс,
И чужие поленья в камине...

Уже выгоняет выжлятник пожар —
Линеек раскидистых стайку,
Несется земля – меблированный шар,
И зеркало корчит всезнайку.

Площадками лестниц – разлад и туман,
Дыханье, дыханье и пенье,
И Шуберта в шубе замерз талисман —
Движенье, движенье, движенье...

* * *

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой —
Кто с чохом – чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.

Девчонка, выскочка, горячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей —
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой —
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой —

Вертявой, в дирижерских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках,
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.

Играй же на разрыв аорты,
С кошачьей головой во рту!
Три черта было, ты – четвертый,
Последний, чудный черт в цвету!

* * *

Бежит волна – волной волне хребет ломая,
Кидаясь на луну в невольничьей тоске,
И янычарская пучина молодая,
Неусыпленная столица волновая,
Кривеет, мечется и роет ров в песке.

А через воздух сумрачно-хлопчатый
Неначатой стены мерещатся зубцы,
А с пенных лестниц падают солдаты
Султанов мнительных – разбрызганы, разъяты,
И яд разносят хладные скопцы.

* * *

Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Морского лета земляники —
Двуискренние сердолики
И муравьиный брат – агат,

Но мне милей простой солдат
Морской пучины – серый, дикий,
Которому никто не рад.

* * *

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну:
Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.

Возгласы темно-зеленой хвои,

С глубиной колодезной венки
Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки, —
Обручи краснознаменной хвои,
Азбучные, крупные венки!

Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах,
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.

И зенитных тысячи орудий —
Карих то зрачков иль голубых —
Шли нестройно – люди, люди, люди, —
Кто же будет продолжать за них?

Вторая тетрадь

* * *

Из-за домов, из-за лесов,
Длинней товарных поездов —
Гуди за власть ночных трудов,
Садко заводов и садов.

Гуди, старик, дыши сладко,
Как новгородский гость Садко
Под синим морем глубоко, —
Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов.

Рождение улыбки

Когда заулыбается дитя
С развилкой и горечи, и сласти,
Концы его улыбки не шутя
Уходят в океанское безвластье.

Ему непобедимо хорошо:
Углами губ оно играет в славе —
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познания яви.

На лапы из воды поднялся материк —
Улитки рта наплыв и приближенье —
И бьет в глаза один атлантов миг
Под легкий наигрыш хвалы и удивленья.

Потянут на себя их дышащую тяжесть.
Нет имени у них. Войди в их хрящ,
И будешь ты наследником их княжеств, —

И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их извилинах, развивах,
Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их – в приливах и отливах.

* * *

Внутри горы бездействует кумир
В покоях бережных, безбрежных и счастливых,
А с шеи каплет ожерелий жир,
Оберегая сна приливы и отливы.

Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили.

Кость усыпленная завязана узлом,
Очеловечены колени, руки, плечи.
Он улыбается своим тишайшим ртом,
Он мыслит костю и чувствует челом
И вспомнить силится свой облик человеческий...

* * *

Я в сердце века. Путь неясен,
А время удаляет цель —
И посоха усталый ясень,
И меди нищенскую цвель.

* * *

А мастер пушечного цеха,
Кузнечных памятников швец,
Мне скажет: ничего, отец, —
Уж мы сошьем тебе такое...

* * *

Сосновой рощицы закон:

Виол и арф семейный звон.
Стволы извилисты и голы,
Но всё же арфы и виолы
Растут, как будто каждый ствол
На арфу начал гнуть Эол
И бросил, о корнях жалея,
Жалея ствол, жалея сил;
Виолу с арфой пробудил
Звучать в коре, коричневая.

* * *

Пластинкой тоненькой жиллета
Легко щетину спячки снять —
Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.

Вы, именитые вершины,
Дерев косматых именины —
Честь Рюисдалевых картин,
И на почин — лишь куст один
В янтарь и мясо красных глин.

Земля бежит наверх. Приятно
Глядеть на чистые пласты
И быть хозяином объятной
Семипалатной простоты.

Его холмы к далекой цели
Стогами легкими летели,
Его дорог степной бульвар
Как цепь шатров в тенистый жар!
И на пожар рванулась ива,
А тополь встал самолюбиво...
Над желтым лагерем жнивья
Морозных дымов колея.

А Дон еще, как полукровка,
Сребрясь и мелко, и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа,

Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели...

* * *

Ночь. Дорога. Сон первичный
Соблазнителен и нов...
Что мне снится? Рукавичный
Снегом пышущий Тамбов
Или Цны – реки обычной —
Белый, белый бел-покров?

Или я в полях совхозных —
Воздух в рот и жизнь берет
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот?

Кроме хлеба, кроме дома,
Снится мне глубокий сон:
Трудодень, подъятый дремой,
Превратился в синий Дон...

Анна, Россошь и Гремяче —
Процветут их имена —

Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна!..

* * *

Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка,
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес – еловый?
Не еловый, а лиловый, —
И какая там береза,
Не скажу наверняка —
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка...

* * *

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола...
Это мачеха Кольцова...
Шутишь – родина щегла!
Только города немного
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор,
В гуще воздуха степного

Перекличка поездов
Да украинская мова
Их растянутых гудков...

* * *

Шло цепочкой в темноводье
Протяженных гроз ведро
Из дворянского угодья
В океанское ядро.

Шло, само себя кольша,
Осторожно, грозно шло...
Смотришь: небо стало выше —
Новоселье, дом и крыша —
И на улице светло!

* * *

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясется, сердцевит,
Ученый плащик перчит злоба,
А чепчик черным красовит.

Клевещет жердочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц —
И всё на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц.

* * *

Как подарок запоздалый
Ощутима мной зима —
Я люблю ее сначала
Неуверенный размах.

Хороша она испугом,
Как начало грозных дел, —
Перед всем безлесным кругом
Даже ворон оробел.

Но сильнее всего непрочно —
Выпуклых голубизна —
Полукруглый лед височный
Речек, баюющих без сна...

* * *

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий —
Внук он зелени стоячей
И купец воды морской.

Там, где огненными щами
Угощается Кашей,
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей —
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих
Кот живет не для игры —
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы,
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих —
Шароватых искр пиры...

* * *

Твой зрачок в небесной корке,
Обращенный вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц.

Будет он, обожествленный,
Долго жить в родной стране,
Омут ока удивленный, —
Кинь его вдогонку мне!

Он глядит уже охотно
В мимолетные века —
Светлый, радужный, бесплотный,
Умоляющий пока.

* * *

Улыбнись, ягненок гневный – с Рафаэлева холста, —
На холсте уста вселенной, но она уже не та...

В легком воздухе свирели раствори жемчужин боль —
В синий, синий цвет синели океана вьелась соль...

Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
Складки бурного покоя на коленях разлиты.

На скале черствее хлеба – молодых тростинки роц,
И плывет углами неба восхитительная мощь.

* * *

Когда в ветвях понурых
Заводит чародей
Гнедых или каурых
Шушуканье мастей, —

Не хочет петь линючий,
Ленивый богатырь —
И малый, и могучий
Зимующий снегирь, —

Под неба нависанье,
Под свод его бровей
В сиреневые сани
Усядусь поскорей...

* * *

Я около Кольцова
Как сокол закольцован —
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник, без указа,
Распахнут кругозор.

В степи кочуют кочки —
И всё идут, идут
Ночлеги, ночи, ночки —
Как бы слепых везут...

* * *

Дрожжи мира дорогие:

Звуки, слезы и труды —
Ударенья дождевые
Закипающей беды,
И потери звуковые
Из какой вернуть руды?

В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые,
Медной полные воды, —
И идешь за ними следом,
Сам себе немил, неведом —
И слепой, и поводырь...

* * *

Влез бесенок в мокрой шерстке —
Ну, куды ему, куды? —
В подкопытные наперстки,
В торопливые следы —
По копейкам воздух версткий
Обирает с слободы...

Брызжет в зеркальцах дорога —
Утомленные следы
Постоят еще немного
Без покрова, без слюды...
Колесо брюзжит отлого:
Улеглось – и полбеды!

Скучно мне: мое прямое
Дело тараторит вкось —
По нему прошло другое,
Надсмехалось, сбило ось...

* * *

Еще не умер ты. Еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен —
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,

И жалок тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

* * *

В лицо морозу я гляжу один:
Он – никуда, я – ниоткуда,
И всё уютится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце шуруется в крахмальной нищете —
Его прищур спокоен и утешен.
Десятизначные леса – почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб,
безгрешен.

* * *

О, этот медленный, одышливый простор!
Я им пресыщен до отказа, —
И отдышавшийся распахнут кругозор —
Повязку бы на оба глаза!

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатых Камы:
Я б удержал ее застенчивый рукав,
Ее круги, края и ямы.

Я б с ней сработался – на век, на миг один —
Стремнин осадистых завистник,
Я б слушал под корой текучих древесин
Ход кольцеванья волокнистый...

* * *

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
Мы сами видим, засыпая, зрим —
И всё растет вопрос: куда они, откуда,
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, —
Пространств несозданных Иуда?

* * *

Как женственное серебро горит,
Что с окисью и примесью боролось,
И тихая работа серебрит
Железный плуг и песнотворца голос.

* * *

Я нынче в паутине световой —
Черноволосой, светло-русой, —
Народу нужен свет и воздух голубой,
И нужен хлеб и снег Эльбруса.

И не с кем посоветоваться мне,
А сам найду его едва ли:
Таких прозрачных, плачущих камней
Нет ни в Крыму, ни на Урале.

Народу нужен стих таинственно-родной,
Чтоб от него он вечно просыпался
И льнянокудрюю, каштановой волной —
Его звучаньем – умывался...

* * *

Как землю где-нибудь небесный камень будит,
Упал опальный стих, не знающий отца:
Неумолимое – находка для творца,
Не может быть другим, никто его не судит.

* * *

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,

Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами,

Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,

Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,

И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей...

* * *

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? —
И хочется мычать от всех замков
и скрепок...

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы —
И прячутся поспешно в уголки,
И выбегают из углов угланы...

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке, —

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!

* * *

Люблю морозное дыханье
И пара зимнего признание:
Я — это я; явь — это явь...

И мальчик, красный, как фонарик,
Своих салазок государик
И заправила, мчится вплавь.

И я — в размолвке с миром, с волей —
Заразе саночек мирволю —
В серебристых скобках, в бахромах —

И век бы падал векши легче
И легче векши к мягкой речке —
Полнеба в валенках, в ногах...

* * *

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях,
Смотрит века могучая вежа
И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,
А потом куда хочешь влеки —
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданья у мощной реки.

Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак,
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журьба.

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...

Не припомнить того, что было:
Губы жарки, слова черствы —
Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы...

А на деле-то было тихо,
Только шел пароход по реке,
Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке...

И к нему – в его сердцевину —
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел...

* * *

Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей – скалы подспорье и пособие?
А коршун где – и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?

Тому не быть – трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы —
Но эти губы вводят прямо в суть
Эхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Он эхо и привет, он вежа, – нет, лемех...
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

* * *

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.

Простишь ли ты меня, великолепный брат,
И мастер, и отец черно-зеленой теми, —
Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме
Смущают не к добру, смущают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя.

* * *

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева,
И парус медленный, что облаком продолжен, —
Я с вами разлучен, вас оценив едва:
Длинней органных фуг – горька морей трава,
Ложноволосая, – и пахнет долгой ложью,
Железной нежностью хмелеет голова,
И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет...
Что ж мне под голову другой песок подложен?
Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье
Иль этот ровный край – вот все мои права,
И полной грудью их вдыхать еще я должен.

* * *

Пою, когда гортань сыра, душа – суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознание:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыхание?
И грудь стесняется, без языка – тиха:
Уже не я пою – поет мое дыхание,
И в горных ножнах слух, и голова глуха...

Песнь бескорыстная – сама себе хвала:
Утеха для друзей и для врагов – смола.

Песнь одноглазая, растущая из мха, —
Одноголосый дар охотничьего быта,
Которую поют верхом и на верхах,
Держа дыхание вольно и открыто,
Забываясь лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха...

* * *

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую всё, с чем свидетелься пришлось,
И вспоминаю наизусть и все...

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную...

* * *

Были очи острее точимой косы —
По зегзице в зенице и по капле росы, —

И едва научились они во весь рост
Различать одинокое множество звезд.

* * *

Еще он помнит башмаков износ —
Моих подметок стертое величье,
А я – его: как он разноголос,
Черноволок, с Давид-горой гранича.

Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы-пролазы:
Балкон – наклон – подкова – конь – балкон,
Дубки, чинары, медленные вязы...

И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света, —
А город так горазд и так уходит в крепь
И в моложавое, стареющее лето.

* * *

Обороняет сон мою донскую сонь,
И разворачиваются черепах маневры —
Их быстроходная, взволнованная бронь,
И любопытные ковры людского говора...

И в бой меня ведут понятные слова —
За оборону жизни, оборону
Страны-земли, где смерть уснет, как днем
сова...
Стекло Москвы горит меж ребрами
гранеными.

Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны;
И брони боевой и бровь, и голова
Вместе с глазами любовно собраны.

И слушает земля – другие страны – бой,
Из хорового падающий короба:
– Рабу не быть рабом, рабе не быть
рабой, —
И хор поет с часами рука об руку.

* * *

Как дерево и медь Фаворского полет —
В дощатом воздухе мы с временем соседи,
И вместе нас ведет слоистый флот
Распиленных дубов и яворовой меди.

И в кольцах сердится еще смола, сочась,

Но разве сердце лишь испуганное мясо?
Я сердцем виноват и сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.

Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми
глазами...
Я обведу еще глазами площадь всей,
Всей этой площади с ее знамен лесами.

* * *

Я в львиный ров и крепость погружен
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой —
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.

Как близко, близко твой подходит зов —
До заповедей рода, и в первины —
Океанийских низка жемчугов
И таитянок кроткие корзины...

Карающего пенья материк,
Густого голоса низинами надвинься!
Богатых дочерей дикарско-сладкий лик
Не стоит твоего – праматери – мизинца.

Не ограничена еще моя пора:
И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосная органная игра
Сопровождает голос женский.

Третья тетрадь

Стихи о неизвестном солдате

1

Этот воздух пусть будет свидетелем,
Дальнобойное сердце его,
И в землянках, всеядный и деятельный,
Океан без окна – вещество.

До чего эти звезды изветливы!
Всё им нужно глядеть – для чего? —
В осужденье судьбы и свидетеля,
В океан без окна, вещество...

Помнит дождь, неприветливый сеятель,
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди, холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать —
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать,

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как горбатого учит могила
И воздушная яма влечет.

2

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры...

3

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте —
Доброй ночи, всего им хорошего
От лица земляных крепостей.

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей —
За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте —

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил, —
Развороченных – пасмурный, оспенный
И придымленный гений могил.

4

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека —
Им обоим найдется работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка —
Эй, товарищество, – шар земной!

5

Для того ль должен череп развиваться
Во весь лоб – от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?
Развивается череп от жизни
Во весь лоб – от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна отчизне —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья – Шекспира отец...

6

Ясность ясеновая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Как бы обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Эта слава другим не в пример.

И сознание свое затоваривая

Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую
влюбленный,
Как сухую, но живую лапу клена
Дым уносит, на ходулях убегая...

* * *

Я скажу это начерно, шепотом —
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра...

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и прижизненный дом.

* * *

Небо вечера в стену влюбилось —
Всё изрублено светом рубцов, —
Провалилось в нее, осветилось,
Превратилось в тринадцать голов.

Вот оно – мое небо ночное,
Пред которым как мальчик стою:
Холодеет спина, очи ноют,
Стенобитную твердь я ловлю —

И под каждым ударом тарана
Осыпаются звезды без глав:
Той же росписи новые раны —
Неоконченной вечности мгла...

* * *

Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь...
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.

Не разнять меня с жизнью – ей снится
Убивать – и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски...

И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отзвук неба во всю мою грудь!

* * *

Заблудился я в небе – что делать?
Тот, кому оно близко, – ответь! —
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть,
Задышаться, чернеть, голубеть...

Если я не вчерашний, не зряшный —
Ты, который стоишь надо мной, —
Если ты виночерпий и чашник,
Дай мне силу без пены пустой
Выпить здравье кружащейся башни
Рукопашной лазури шальной...

Голубятни, черноты, скворешни,
Самых синих теней образцы —
Лед весенний, лед высший, лед вешний,
Облака – обаянья борцы, —
Тише: тучу ведут под уздцы!

* * *

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия...

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнава
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом,
Только здесь – на земле, а не на небе,

Как в наполненный музыкой дом, —
Только их не спугнуть, не изранить бы —
Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости...
Тихо, тихо его мне прочти...

* * *

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я согласился с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести,
И собирался в путь, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий...

Где больше неба мне – там я бродить
готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

Рим

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят —
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят, —

Древность легкая, летняя, наглая,
С жадным взглядом и плоской ступней,
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступьи над желтой водой, —

Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов,
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и из сквозняков, —
Превратили в убийства питомник
Вы – коричневой крови наемники —
Италийские чернорубашечники —
Мертвых цезарей злые щенки...

Все твои, Микель-Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд:
Ночь, сырая от слез, и невинный,
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, —
Мощь свободная и мера львиная
В усыплении и в рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки
В площадь льющихся лестничных рек, —
Чтоб звучали шаги как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.

Ямы Форума заново вырыты,
И открыты ворота для Ирода —
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

* * *

Чтоб, приятель и ветра и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках цари.

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец,
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного праха истец.

Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощаньи отдав, в верещаньи
Мир, который как череп глубокий, —

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть —

И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть...

* * *

Гончарами велик остров синий —
Крит зеленый. Запекся их дар
В землю звонкую. Слышишь подземных
Плавников могучий удар?

Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине,
И сосуда студеная власть
Расколосась на море и глаз.

Ты отдай мне мое, остров синий,
Крит летучий, отдай мне мой труд
И сосцами текучей богини
Воскорми обожженный сосуд...

Это было и пелось, синяя,
Много задолго до Одиссея,
До того, как еду и питье
Называли «моя» и «мое».

Выздоровливай же, излучайся,
Волоокого неба звезда,
И летучая рыба – случайность,
И вода, говорящая «да».

* * *

Длинной жажды должник виноватый,
Мудрый сводник вина и воды:
На боках твоих пляшут козлята
И под музыку зреют плоды.

Флейты свищут, клянутся и злятся,
Что беда на твоём ободу
Черно-красном – и некому взяться
За тебя, чтоб поправить беду.

* * *

О, как же я хочу,
Нечуемый никем,

Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись —
Другого счастья нет —
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

А я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шепотом лучу
Тебя, дитя, вручу.

* * *

Нереиды мои, нереиды!
Вам рыданья – еда и питье,
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое.

* * *

Флейты греческой тэта и йота —
Словно ей не хватало молвы, —
Неизваянная, без отчета,
Зрела, маялась, шла через рвы...

И ее невозможно покинуть,
Стиснув зубы, ее не унять,
И в слова языком не продвинуть,
И губами ее не разнять...

А флейтист не узнает покоя:
Ему кажется, что он один,
Что когда-то он море родное
Из сиреневых вылепил глин...

Звонким шепотом честолюбивых,
Вспоминающих шепотом губ
Он торопится быть бережливым,
Емлет звуки – опрятен и скуп...

Вслед за ним мы его не повторим,
Комья глины в ладонях моря,
И когда я наполнился морем —
Мором стала мне мера моя...

И свои-то мне губы не любы —

И убийство на том же корню —
И невольно на убыль, на убыль
Равноденствие флейты клоню...

* * *

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за́ город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
«Мы вернемся еще – разумеете...»

* * *

Я к губам подношу эту зелень —
Эту клейкую клятву листов,
Эту клятвopеступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.

Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремящего парка глазам?

А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочную выдумкой пар.

* * *

Клейкой клятвой липнут почки,
Вот звезда скатилась —
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась.

– Подожди, – шепнула вятно

Неба половина,
И ответил шелест скатный:
– Мне бы только сына...

Стану я совсем другою
Жизнью величаться.
Будет зыбка под ногою
Легкою качаться.

Будет муж, прямой и дикий,
Кротким и послушным,
Без него, как в черной книге,
Страшно в мире душном...

Подмигнув, на полуслове
Запнулась зарница.
Старший брат нахмурил брови.
Жалится сестрица.

Ветер бархатный, крыластый
Дует в дудку тоже, —
Чтобы мальчик был лобастый,
На двоих похожий.

Спросит гром своих знакомых:
– Вы, громá, видали,
Чтобы липу до черемух
Замуж выдавали?

Да из свежих одиночеств
Леса – крики пташьи:
Свахи-птицы свищут почесть
Льстивую Наташе.

И к губам такие липнут
Клятвы, что, по чести,
В конском топоте погибнуть
Мчатся очи вместе.

Все ее торопят часто:
– Ясная Наташа,
Выходи, за наше счастье,
За здоровье наше!

* * *

На меня нацелилась груша да черемуха —
Силою рассыпчатой бьет в меня без промаха.

Кисти вместе с звездами, звезды вместе

Шум времени

Музыка в Павловске

Я помню хорошо глухие годы России – девяностые годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм – тихую заводь: последнее убежище умирающего века. За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то «Крейцеровой сонате» и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, – девяностые годы слагаются в моем представлении из картин разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни.

Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи и обтянутые локти, перетянутые осиные талии, усы, эспаньолки, холеные бороды: мужские лица и прически, какие сейчас можно встретить разве только в портретной галерее какого-нибудь захудалого парикмахера, изображающей капули и «а-ля кок».

В двух словах – в чем девяностые годы. Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске; шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала, и дирижер Галкин в центре мира.

В середине девяностых годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царил Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы.

Вышло так, что мы сделали павловскими зимогорами, то есть круглый год на зимней даче жили в старушечьем городе, в российском полу-Версале, городе дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чахоточных педагогов (жить в Павловске считалось здоровее) – и взяточников, скопивших на дачу-особняк. О, эти годы, когда Фигнер терял голос и по рукам ходили двойные его карточки: на одной половинке поет, а на другой затыкает уши, когда «Нива», «Всемирная новь» и «Вестники иностранной литературы», бережно переплетаемые, проламывали этажерки и ломберные столики, составляя надолго фундаментальный фонд мещанских библиотек!

Сейчас нет таких энциклопедий науки и техники, как эти переплетенные чудовища. Но эти «Всемирные панорамы» и «Нови» были настоящим источником познания мира. Я любил «смесь» о страусовых яйцах, двуголовых телятах и праздниках в Бомбее и Калькутте, и особенно картины, большие, во весь лист: малайские пловцы, скользящие по волнам величиной с трехэтажный дом, привязанные к доскам; таинственный опыт господина Фуко: металлический шар и огромный маятник, скользящий вокруг шара, и толпящиеся кругом серьезные господа в галстуках и с бородками. Мне сдается, взрослые читали то же самое, что и я, то есть главным образом приложения, необъятную, расплодившуюся тогда литературу приложений к «Ниве» и проч. Интересы наши вообще были одинаковы, и я семи-восемью лет шел в уровень с веком. Все чаще и чаще слышал я выражение «fin de siècle», «конец века», повторявшееся с легкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией. Как будто, оправдав Дрейфуса и расквитавшись с чертовым островом, этот странный век потерял свой смысл.